



СОБРАНИЕ

ОЧИЙЕВСКАЯ

ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕНТИНА
СВЕНЦИЦКОГО

Валентин Свенцицкий
Собрание сочинений.
Том 1. Второе распятие
Христа. Антихрист. Пьесы
и рассказы (1901-1917)

ТД "Белый город"

2008

ББК 86-372

Свенцицкий В. П.

Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917) / В. П. Свенцицкий — ТД "Белый город", 2008

ISBN 978-5-485-00206-0

Собрание сочинений великого христианского проповедника XX в. прот. Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931) открывают ранее не переиздававшиеся художественные произведения. Боговдохновенная «Фантазия» повествует о приходе в Москву Иисуса Христа и обнажает причины гибели Российской империи; продолжающий линию духовного реализма Ф. М. Достоевского роман-исповедь «Антихрист» с шокирующей откровенностью рассказывает о порабощении человека инородным существом, главный герой олицетворяет образ серебряного века; пьесы охватывают жанры от мистической трагедии до бытовой драмы; для рассказов характерны острые сюжеты и психологическая напряжённость.

ББК 86-372

ISBN 978-5-485-00206-0

© Свенцицкий В. П., 2008

© ТД "Белый город", 2008

Содержание

От редакции	6
Второе Распятие Христа	7
I	8
II	10
III	13
IV	15
V	16
VI	18
VII	20
VIII	23
IX	27
X	29
XI	31
XII	33
XIII	35
XIV	37
Эпилог	41
Антихрист	42
Часть первая	43
Вместо предисловия	43
I	44
II	51
III	54
Конец ознакомительного фрагмента.	57

**Протоиерей Валентин
Павлович Свенцицкий
Собрание сочинений. Том 1
Второе распятие Христа
Антихрист
Пьесы и рассказы
1901–1917**

**ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II**

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: *Интернет-портал «Православная книга России»*

www.pravkniga.ru

Составление, подготовка текста, комментарии *С. В. Черткова*
Издание осуществлено при духовной поддержке прот. Николая Кречетова и прот. Леонида Калинина

© Чертков С. В., составление, послесловие, комментарии, 2008.

© Издательство «Дарь», 2008.

От редакции

Собрание сочинений протоиерея Валентина Павловича Свенцицкого подготовлено на основе критического изучения всех известных нам художественных, публицистических и эпистолярных его произведений. Задача издания – в максимальном объёме представить читателю литературное наследие великого христианского проповедника XX века.

В 1901–1919 вышли в свет два десятка его книг, около 400 статей и рассказов. В период владычества коммунистической партии работы о. Валентина распространялись в самиздате¹ и выходили за рубежом,² а на родине впервые были напечатаны сразу после крушения богоборческого режима;³ ныне совокупный тираж отдельных изданий⁴ превысил 200 тыс. экз. Но всякий раз публикации были лишены примечаний, а уровень подготовки текста часто не выдерживал критики; подавляющее же большинство творений до сих пор оставалось под спудом.

Настоящее собрание сочинений ставит целью восполнить эти пробелы. Все тексты выведены по первым публикациям или рукописям, устранены явные типографские опечатки, орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами русского литературного языка при сохранении особенностей авторского стиля. Справочный аппарат состоит из вводной части (сведений о печатных и прочих источниках, цензурных мытарствах, сценических постановках, отзывах критиков, мнении автора) и постраничного комментария, помогающего должным образом понять исторический, смысловой и биографический подтексты.

Издание построено по жанрово-хронологическому принципу, в 1-й том входят художественные произведения, ни одно из них полностью не переиздавалось. Тексты, подписанные псевдонимами, заново атрибутированы.⁵ Пока не найдены рукописи ненапечатанных при жизни автора: рассказа «Мать» из цикла «Убийцы» (предложен в 1911 В. Я. Брюсову для публикации в журнале «Русская мысль»), повести «Христос (Записки юридивого)», драмы в четырёх действиях «Чернец», пьесы «Пророк» и «Проповедей пастора Реллинга» (о них известно лишь по анонсам в повременных изданиях). Работа по выявлению принадлежащих Свенцицкому текстов и сбор биографических материалов продолжаются, редакция будет благодарна за содействие в этих исследованиях. Просим всех заинтересованных лиц, готовых помочь словом и делом, обращаться по адресу nemanser@mail.ru.

¹ «Полное собрание сочинений прот. Валентина Свенцицкого в 9-ти томах»; «Проповеди» (Казань: рукопись); «Шесть чтений о Таинстве покаяния и его истории» (машинопись).

² Надежда. Франкфурт н/М. 1979. Вып. 2; 1981. Вып. 5.

³ Слово. 1991. № 10.

⁴ *Диалоги*. М.: Бр-во во имя Всемиловейшего Спаса, 1993; К.: Киево-Печерская Лавра, 1994; М.: ПСТБИ, 1995; М., Саратов: Благовестник, 1999; Дивеево: Скит, 1999; М.: Дарь, 2005, 2007. *Граждане неба*. СПб.: Сатись, 1994; Дивеево: Скит, 1999; М.: Артос-Медиа, 2007; М.: Паломник, 2007. *Монастырь в миру*. Т. 1-2. М.: ПСТБИ, 1995–1996; М.: Лествица, 1999, 2003; М.: Артос-Медиа, 2008.

⁵ В частности, рассказ «Ноябрьской ночью» (Русская мысль. 1903. № 5) ошибочно приписан Свенцицкому В. И. Кейданом (ВГ. Прим. к письму № 6).

Второе Распятие Христа Фантазия



I

Это произошло во время пасхальной заутрени.

Толстый священник о. Иоанн Воздвиженский кадил на все четыре стороны. Хор под управлением всегда выпившего регента Пугвицина пел: «Христос воскрес из мертвых».

Кухарки крестились, клали низкие поклоны, искоса поглядывая, не украли ли куличи и пасхи, принесённые для освящения. Наряженные барыни и кавалеры христосовались друг с другом.

Словом, было то, что каждый год повторяется в тысячах православных храмов во время пасхальной заутрени. И никто не подозревал, что в ту ночь свершилось великое чудо.

Иоанн Воздвиженский, стоя в алтаре, думал о том, не перекисло ли тесто на куличи у жены его, так как она сегодня проспала. Пугвицин, стоя на клиросе, придумывал, как бы ему потихоньку от жены, после ранней обедни, пробраться к Терехову, у которого предполагалась вечеринка холостяков. Кухарка Андроновых думала о том, чтобы с заутрени успеть отнести маленький куличик пожарному. Зизи краснела при одной мысли, что ей сегодня предстоит христосоваться с Коко. Гимназист Ника блестящими глазами смотрел на кузину Зою и предвкушал, как он на улице, когда не будет видеть m-lle Куанон, поцелует её. Маленький Ваня обкапал себе рукав воском и старался оттереть пятно, покуда не заметила тётя Вера...

В ту же самую ночь, в далёкой заглохшей монастырской ограде, на том самом месте, где почти две тысячи лет тому назад Мария Магдалина, найдя гроб пустым, в испуге бросилась рассказать ученикам, что тело Господа унесли, на том месте, где впервые смерть была побеждена Богочеловеком, свершилось великое чудо: Христос, после своего воскресения, по доносу Синедриона и предписанию кесаря снова положенный во гроб, опять воскрес.

Была тихая весенняя ночь. Горели яркие звёзды. Душистый туман подымался от молодой зелёной травы. Не было вокруг могилы стражи, не было учеников. Светлый ангел тихо отвалил тяжёлый камень, умыл ноги Иисуса, принёс Ему новые одежды и улетел к далёким небесам.

Христос остался один.

Скользя, как тень, блистая радостным победным светом, Он вышел со старого монастырского кладбища и пошёл по дороге.

По обе стороны ровные поля. Пахнет сырой весенней землёй. Невысокие озими тенями сереют в темноте. Радостно, торжественно горят звёзды, словно ниже спустившиеся над землёй.

Вдали показался храм. Колокольня вся была украшена цветными лампочками. Изредка сбоку взлетали ракеты. Окна горели, словно внутри храма был пожар.

А в храме о. Иоанн Воздвиженский всё кадил, всё кланялся; хор под управлением Пугвицина всё пел: «Христос воскрес из мертвых...»

Христос подошёл к храму. Две-три старушки-нищие, должно быть, узнав Его, поклонились Ему до земли. Он благословил их и взошёл в церковь.

Заутреня подходила к концу. Кухарки уже начинали разбирать куличи. Гимназист Ника дёргал кузину за рукав и шептал ей:

– Идём... m-lle нас догонит... мне нужно сказать вам...

В последний раз запели:

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав!

На несколько мгновений в церкви наступила какая-то странная тишина. О. Иоанн не мог сделать своего привычного возгласа; отец дьякон не мог подтолкнуть о. Иоанна; Пугвицин не мог кашлянуть, чтобы дать понять батюшке его оплошность.

И вдруг раздался странный, словно откуда-то с неба идущий голос:

– Воистину воскрес!

Взоры всех устремились сначала кверху, потом стали искать по сторонам и наконец обратились к входу и с ожиданием, ужасом и недоумением уставились на странного человека в белых одеждах, стоявшего недалеко от старосты.

Несколько минут в церкви было полное замешательство. Неизвестный с радостным и в то же время скорбным лицом смотрел на народ. И каждому казалось, что глубокие, лучистые глаза неизвестного устремлены именно на него.

Быстрее всех пришёл в себя староста, купец Бардыгин.

– Послушай, любезный, – сказал он негромко, но внушительно, – пойдика сюда...

Христос подошёл. Плотной стеной вокруг них столпился народ.

– Что тебе нужно? Зачем нарушаешь благочиние в храме? Откуда ты взялся тут?

– Я воскрес из мёртвых.

По толпе прошёл сдержанный ропот.

– Уйдём, – сказала Зизи, – они его ещё бить начнут.

– Ты пьян, любезный! – строго сказал староста.

Христос молчал.

– Как тебя звать?

– Иисус.

– Иисус?..

– Да.

– Ты жид?

– Да, я – иудей...

В это время подошёл сторож Трофимыч, строгий коренастый старичок, не любивший никаких беспорядков. Его прислал из алтаря о. Иоанн. Ни слова не говоря, он взял незнакомца за руку и потащил к выходу.

– Убирайся-ка подобру-поздорову, пока в шею не наклали, – говорил он ему, подталкивая в спину.

– У, жидорва! – бросил вслед уходившему полицейский чин.

Две нищие старушки снова упали на колени перед Христом. Он вышел из церкви и тихо пошёл к невысокому холму, откуда доносился шум берёзовой рощи. Молодые клейкие листочки нежно говорили друг с другом, и тихая ночь таинственно прислушивалась к ихговору.

II

Настало утро. Христос всё сидел на холме под ласковой тенью молодых берёзок. Задумчиво смотрел он на громадный каменный город, расстилавшийся перед ним. Церковь, из которой вчера выгнали его, была на самой окраине: белая, новенькая.

Мимо Христа шли фабричные, крестьяне, железнодорожные служащие.

Его стали замечать. Необычайный лик Христа приковывал к себе внимание. Останавливались, спрашивали друг друга: «Кто это?» К полдню у подножья холма уже стояла целая толпа.

Наконец Христос, углублённый в свои думы, заметил народ.

Он поднялся и обвёл всех тихим, ласкающим взглядом.

И от одного этого взгляда слёзы покаяния подступили к горлу; вспоминалась вся тёмная, пьяная, развратная жизнь; в груди таял лёд чёрствости, жестокости, злобы; тяжёлые камни, теснившие сердце, сползали сами собой, как пыль, уносимая ветром. Радостная надежда начала трепетать в душе. Надежда на то, что и рабы труда, нищеты, голода – все дети одного Отца, что кончится когда-нибудь эта каторжная земная жизнь с невыносимыми муками своими и Отец призовет в обитель несчастных, измученных Своих детей. Детство раннее вспоминалось, когда чистые, кроткие, радостные, как все дети, бегали по берегу речки Малеевки, собирали раковины, и так дышалось легко, такое голубое, светлое было небо, такие ласковые, родные были деревья; плакать хотелось оттого, что прошло оно, и смеяться от счастья, от радостной веры, что вернётся снова; что это тело состарилось, а душа станет чистой, прекрасной, божественной, как её Создатель.

Христос поднял прозрачную руку Свою, свет небесный озарил Его лицо, и Он, благословив народ, разверз уста Свои.

Нет, это не голос человеческий. Это хоры ангелов незримые поют. И звуки голосов их не улетают в бездушное пространство, а падают глубоко-глубоко в человеческие сердца.

«Блаженны нищие духом, – говорил Христос, – ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

Народ оцепенел. Новые, неслыханные слова! Из какой дивной книги взял Он их?

И снова поднял Христос руку Свою, и снова благословил народ.

Как один человек все тихо опустили на колени, и только несколько детей робко подошли к Нему.

Старушка Макаровна, торговка семянками, ры дала, прижимаясь морщинистой головой к сырой земле.

– Батюшка... родименький... – шептала она, – пришёл Утешитель, Спаситель наш.

Уже больше никто не спрашивал: «Кто это?» Сердце узнало – Кто. Долгие годы оно ждало этих слов, этого голоса. Теперь оно рвалось навстречу Ему.

– Говори, говори, Учитель!..

А Он стоял, и светлый лик Его становился задумчив, тень скорби ложилась на нём.

Расталкивая народ локтями, городской кричал:

– Это что за толпа? Что тут такое?.. Где? Кто тут?.. – Он искал глазами. – Расходитесь, расходитесь... Вам говорят! Добром просят...

Толпа медленно стала расходиться.

А с холма снова раздался таинственный голос:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
Толпа снова замерла. Городовой с удивлением посмотрел на холм:
– Ты что орёшь?! По какому праву народ собрал? Проходи, а то в участок отправлю. Ну, слышишь!.. И вы, братцы, расходитесь... а не то...
Он стал расталкивать народ в разные стороны.
– Дай послушать-то доброго человека, – сказал старичок.
– В церковь ступай, там и слушай. А не то – в участок.
– Нехристь ты...
– Ну, не разговаривать!
И снова с холма, словно радостный звон, прозвучал тот же голос:
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня...»
– Да что я, шучу, что ли! – закричал городовой. – Марш с холма! Что за беспорядок!
Толпа нерешительно потянулась к городу. Христос, опустив голову, пошёл за ней.
– Обязательное постановление читал? – строго спросил его городовой.
Христос молча покачал головою.
– Не велено сборищ делать. В участок вашего брата надо. Там покажут...
– Я хотел учить народ, – сказал Христос.
Городовой поднёс к его лицу громадный кулак:
– Видал?.. То-то же!..
Христос вошёл в город. Несколько женщин и стариков из толпы в отдалении шли за Ним.
Всюду чувствовался «праздник». Гул стоял от красного звона. Магазины были заперты.
На лихачах в белых перчатках мчались визитёры.
Зизи встретила подругу и закричала через улицу:
– Машенька, Христос воскрес!
– Воистину, воистину... Я к Курочкиным!
– А вечером придёшь?
– Не знаю...
Пугвицин шёл, обнявшись с Тереховым, и бормотал:
– Смертию смерть поправ... Это, брат... это, брат, тебе не шутка...
Ника в новых перчатках шёл под руку с Зоей.
– Я ни за что не буду с ним христосоваться.
– Это вы так говорите, а потом возьмёте и похристосуетесь.
– Вот ещё!
– Ну, дайте мне слово, что не будете.
– Да вам-то что?
– Вот странно.
Ника покраснел.
О. Иоанн Воздвиженский только что сел за стол и очищал красное яйцо.
– А кулич-то перекис, матушка...
– Полно тебе, ничего не перекис... Это от изюму.
– Перекис.
– Всегда ты мне назло выдумашь.
– Не назло, а только – что надо вовремя вставать. Дрыхнешь, а куличи перекисли...
– Это изюм, а не перекисли...
– Уж какой там изюм... Ну-ка, колбаски дай...
Ваня вырвался-таки от гувернантки и, стоя посреди улицы, орал во всё горло:
– Христос воскрес из мертвых...
Лошади в испуге шарахались в сторону.

- Ma tante, – говорил Коко, – Христос воскрес!
- Воистину...
- А поцелуй?..
- Я не христосуюсь.
- Но я же племянник.
- Мало ли что, но вы мой ровесник.
- Но, ma tante, ведь Христос же воскрес!
- Знаю, знаю! Но о поцелуе и думать нечего!..
- Вы после этого не христианка.

Всё ликовало, всё радовалось. Звон рос с каждым часом. Лихачи мчались всё быстрее. Генералы, офицеры, студенты, лицеисты, гимназисты, штатские, на парах, на рысаках – всё двигалось, торопилось, несло, как ураган.

Христос, никем не замеченный, прошёл через весь город. По-прежнему за ним в отдалении шло несколько человек.

Выйдя за город, Христос остановился. Старый-старый старичок, не решаясь подойти к Нему, встал на колени и прошептал:

- Воистину, воистину воскрес!..

III

Макаровну попутал нечистый. У соседки был чулан, замок на нём висел полусломанный, а в чулане хранились пустые бутылки, которыми соседка торговала.

Пришла Макаровна вечером уставшая, голодная: никто не купил её семян. Ни денег, ни хлеба... И приди ей на ум забраться в чулан и украсть пустые бутылки. Старуха она старая, забрала бутылок много, пошла и упала на дворе. Соседка её, у которой она украла, с бутылками этими и подняла. Пришёл дворник, составили протокол. Макаровну отдали под суд.

Макаровна просидела в тюрьме недолго: боялись, что не доживёт до суда. Во имя правосудия дело ускорили. На первый день Фоминой недели под конвоем доставили в суд.

Макаровна покорно дожидалась своей очереди. Толь ко глупые слёзы сами собой бежали по её морщинистому лицу.

«Украла, согрешила, – думала Макаровна, – поделом мне. Суд царский! Заботится он об нас!»

Дошла очередь до Макаровны. Ввели её в залу суда.

Перекрестилась она на образ и поклонилась на все четыре стороны.

– Как вас зовут? – спросил председатель.

– Макаровна.

– Это отчество, а имя ваше?

– Марья Данилова.

– Сколько вам лет?

– На Казанскую семьдесят три было...

– Господин судебный пристав, – сказал председатель, – нельзя ли закрыть в коридор дверь и попросить не шуметь.

Пристав пошёл исполнять приказание.

А в коридоре в это время происходило нечто странное. Какой-то человек в белой одежде, напоминающей рясу, не слушаясь сторожей, шёл к зале заседаний. И там, где Он проходил, люди останавливались, словно прикованные к своему месту.

– Ваш билет? – спросил сторож неизвестного.

Но Он тихо взял его руку, отстранил и прошёл далее. И сторож также остался неподвижно прикованным к своему месту.

Христос взошёл в суд.

В непонятном смятении, словно застигнутые на месте преступления, присяжные встали со своих мест. Публика отшатнулась от решётки, через которую смотрела. Члены суда, прокурор быстро подошли друг к другу. Один председатель, не двигаясь, сидел на своём месте.

– Прошу вас удалиться из залы заседаний! – с трудом выговаривая слова, сказал он.

– «Не судите, да не судимы будете, – раздался голос Христа, – ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить».

Макаровна, услышав знакомый голос, упала на колени и, вся просиявшая, словно молодость вернулась к ней, проговорила:

– Батюшка, Спаситель наш, прости меня грешную... украла... с голоду...

– Господин пристав, – строго сказал председатель, – распорядитесь убрать отсюда этого сумасшедшего.

Но старичок пристав не мог сдвинуться с места.

Христос повернулся к присяжным и сказал:

– «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоём глазе

бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

– Позвольте вас предупредить, – возвысил голос председатель, – что виновный в оскорблении суда подлежит строгой ответственности!

– Помяни меня, родименький, во Царствии Твоём! – прошептала Макаровна и упала на пол.

Жандарм попробовал было поднять её, но она грузно опустилась снова.

– Померла, ваше-ство!

– Объявляю перерыв на полчаса, – сказал председатель. – Уберите этого!..

Но Христос стал невидим.

Медленно прошли в свою комнату присяжные. Молча стала расходиться публика.

Макаровну унесли.

IV

Был храмовый праздник в церкви Вознесения. Народу набралась такая масса, что даже оба клироса были переполнены. Перед иконой праздника, словно горящий сноп соломы, ярко пылали свечи.

О. Никодим в лучших светлых ризах чинно совершал литургию. Он был человек простой, набожный. Любил свой храм, любил хороших певчих и особенно кадильный дым. Эта любовь осталась у него с детства; бывало, отец приходил от всеобщей благословлять его на сон грядущий, от него так славно пахло ладаном.

Староста у входа едва успевал продавать свечи и просфоры. Деньги звонко звякали на всю церковь, смешиваясь с тихим пением церковных гимнов.

– Не задерживайте; проходите, проходите, – мягко, но внушительно говорил староста тем, которые останавливались у конторки проверять сдачу.

Христос вошёл в этот храм и вместе с прочими подошёл к конторке, где продавали свечи.

– «Возьмите это отсюда, – властно сказал он, – и дома Отца Моего не делайте домом торговли».

– Что такое! Грабят!.. Батюшки!.. – понеслось по церкви.

– Что вам угодно? – спросил староста.

– Уйдите отсюда. Не делайте дом Отца Моего домом торговли! – снова повторил Христос, и в голосе Его была сила и власть.

– Я попрошу вас не нарушать тишины в церкви, иначе придётся позвать сторожа и городского.

Гневом вспыхнуло лицо Христа. Голос зазвенел на всю церковь, словно глас трубный. Он опрокинул стол, на котором лежали свечи и просфоры, рассыпал деньги:

– Идите прочь отсюда! Здесь дом Отца Моего.

И слова Его жгли как огонь. Трепет и смятение ужаса пронесли по церкви.

– Не стыдно скандалничать? – обратился к нему сторож. – Ведь здесь тебе не базар – храм Божий.

Богослужение прекратилось. Народ обступил Христа и старосту.

Христос говорил:

– «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

О. Никодим подошёл к толпе и, вслушиваясь в слова Христа, строго сказал ему:

– Неподобающее говоришь. Храм православный бесчестишь.

– «Бог не в рукотворённых храмах живёт! Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

В это время расслабленный, который всё время на грязной циновке лежал у входа, подполз к ногам Христа.

– «Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои», – обратился к нему Христос.

– Богохульствуешь! – гневно воскликнул о. Никодим. – Кто дал тебе власть грехи прощать?

Христос повернулся к нему:

– «Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорю ему: встань и иди домой!

И на глазах у изумлённой толпы расслабленный, как здоровый, поднялся с полу, в ноги поклонился Христу и благоговейно поцеловал край Его одежды.

Тихо, опустив голову, о. Никодим пошёл в алтарь.

V

Была ночь. Старичок Сила, ночной сторож, приютил Христа у себя на ночлег.

– Всё равно каморка пустая ночью, спи себе на здоровье.

Христос не спал, сидел у открытого окна.

В дверь постучали.

– Эго ты, Сила? – окликнул Христос.

– Можно? – произнёс за дверью дрожащий голос. Дверь отворилась. В темноте нельзя было разобрать лица вошедшего.

– Кто это?

– Это я, о. Никодим... Я пришёл к Тебе поговорить. Ты сегодня свершил чудо. Я знаю, что ты учитель, посланный от Бога... Но в то же время слова твои так странны...

– О каких словах говоришь ты?

– О нерукотворённом храме. О Боге, которому нужно поклоняться в духе и истине.

– «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».

– Да, но не учил ли Христос две тысячи лет тому назад, что Он созиждет церковь, и врата адавы не одолеют её.

– Не про вашу церковь сказаны эти слова.

– Но про какую? Где же другая церковь?

– «Дух дышит, где хочет».

– Послушай, кто бы ты ни был, я вижу, что тебе открыто многое. Скажи, ведь церковь должна была развиваться, крепнуть, изменяться. Не могли же при Христе так же молиться, как в наше время. Не могло быть архиереев, митр, таких облачений, колоколов. Не могло быть всего того, чем богата православная церковь. Но пойми, это доказывает рост церкви. Церковь создается воистину. Её изменения есть переход юности в возраст мужа. Церковь не отменяет Евангелие, но она толкует его. Её толкование есть раскрытие, уразумение тех истин, которые заключены в Евангелии.

– Так говорили книжники и фарисеи две тысячи лет назад, – тихо сказал Христос. – Они извратили закон Моисеев. Они завесили уши народа, и он перестал слушать глас Божий; заповеди Его они умертвили толкованиями своими. И всё это во имя торжества Божьего дела на земле. Рост не в колокольнях, не в архиереях, не в клиросе, не в ваших торгашах свечами – рост Церкви в духе и истине сынов Божиих. Когда Мои апостолы шли на проповедь без серебра и золота, ужели это было ниже, чем выезды ваших архипастырей! Ужели рост Церкви – золото и серебро храмов ваших, когда братья ваши умирают от голода и нищеты!

– Но если так, если ты прав, учитель, то тогда Церкви нет. Церковь от Христа отреклась; не сбылись пророчества Христовы. А тогда Христос не Бог, и мир неискуплённый лежит во зле. Пойми, что кроме Евангелия есть ещё предания. По ним из поколения в поколение жила Церковь, и когда теперь она дошла до своего могущества и торжества, ты хочешь отречься от неё и всё вернуть к первобытному христианству.

Да знаешь ли, если бы сейчас пришёл Сам Христос и потребовал бы, чтобы Церковь восстановила старое учение Его апостолов, ещё неизвестно, послушалась бы Его Церковь или нет! Скорей, не послушалась бы – и была бы права. Христос ниже Церкви.

– Да, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы! И книжники и фарисеи поставили свой человеческий закон, обычай, предания выше голоса Божия; и храмы их стали мертвы, а дух Божий дышал не среди их роскошных храмов, а среди Моих учеников, простых рыбаков.

Ты спрашиваешь: где Церковь? Церковь там, где двое или трое собираются во имя Моё. А собираются во имя Моё там, где любовь, где правда, где таинственное благодатное общение. Церковь и в ваших храмах, но не в золоте их, не в ризах ваших, не в блеске ваших владык. Церковь ваша на паперти, где стоят нищие и убогие – дети мои. Если Церковь не в любви была бы, то в чём же? Не сама ли Церковь ваша на соборах своих устанавливала правила отлучать епископов, если их поставит светская власть, если они переменяют кафедры свои, если не будут собирать соборов; священнослужителей – за взимание денег за требы, мирян – за то, что не всегда пребывают в молитве. Где же хоть один верующий в Церкви, который бы не был отлучён от неё на основании собственных постановлений Церкви?

– Учитель, ты не прав. Изменяются времена, изменяется строгость в исполнении правил. Ты забыл, что кроме жизни в Боге существует ещё быт. Христианству евангельскому надо считаться с бытовым, примирить его с собой, уступить ему.

– Нет, кто хочет быть учеником Моим, тот должен отвергнуться себя, всех привязанностей житейских, всех привычных условий жизни, взять крест Мой и идти. И при апостолах Моих тоже существовал быт, но они не учение Моё исказили ради этого быта, а перевёртывали всю жизнь, все понятия. «Кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня».

– Странно говоришь ты... Но Христос пришёл к слабым, а ты требуешь силы.

– Что невозможно человеку, то возможно Богу!

– Но почему же Церковь наша так велика, так могущественна?

Христос поник головой Своей.

– Ты молчишь?

Христос молча поднялся со своего места. Лицо его светилось во тьме, и глаза сияли.

О. Никодим тоже встал.

– Учитель... кто ты?

– Христос воскресший!..

– Я ослышался... Ты богохульствуешь! – в ужасе отстраняясь от Него, воскликнул о. Никодим.

Но в это время свет окружил голову Спасителя, и образ Его, знакомый по нерукотворённой иконе о. Никодиму, ясно выступил из темноты.

Звёзды сияли на небе. Стены комнаты, казалось, раздвинулись, и весь мир сливался со своим воскресшим Искупителем.

О. Никодиму послышался торжественный победный гимн, который пели где-то в глубине его собственного сердца.

Он упал перед Христом на колени, и из уст его вырвался крик радости:

– Воистину воскрес!

А Христос поднял его и сказал:

– Слушай, что значит величие вашей Церкви. Уже две тысячи лет Я открыл это людям, но они не послушали Меня. Я открыл им, что праведники всегда будут гонимы, а гонители никогда не будут правы. А где нет правды – нет Церкви.

Я открыл им, что гонения, муки, всяческая несправедливость – вот что ожидает мир перед Моим пришествием во славе. И от этих жестокостей «по причине умножения беззакония во многих охладает любовь».

Евангелие Моё будет проповедано по всей земле; с виду Церковь будет могущественна. Имя Моё будет владычествовать над всеми народами, но это и будет означать «мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте».

Так не радуйтесь же господству вашей Церкви, оно знак скорой гибели её. Ищите Церковь в душах живых и бойтесь тех, кто приходит под именем Моим...

VI

Светало. Город ещё спал. Глухими переулками под конвоем гнали за город шестерых солдат, приговорённых к расстрелу.

В казармах был бунт. Убили офицера. Те, кто попроворней, разбежались. Шестерых арестовали. Покорные, сосредоточенные шли они к месту своей казни. Молодые лица – простые, мужицкие – были спокойны, словно люди шли по самому обыкновенному, привычному делу. Пригнали их в город на службу из деревни Вахрамеевки. А теперь велят расстреливать. Ничего не поделаешь – служба. Вышли за город, пошли по пыльной просёлочной дороге. Лес показался. Уж там ждёт кто-то. Это священник для последнего напутствия.

Пришли.

Покорные, беззащитные, они стояли в куче и ожидали своей участи.

Закрутили им назад руки. Батюшка сказал напутствие, дал приложиться ко кресту. Выстроили в ряд. Против них поставили взвод солдат с заряженными ружьями.

Офицер вынул белый платок.

– Раз!..

– Два!

– Три!

Но... никто не выстрелил.

Офицер с изумлением смотрел на них.

– Идёт кто-то, – тихо сказал коренастый солдатик.

Офицер обернулся и посмотрел на дорогу. Через поле быстро шла какая-то странная белая фигура.

Офицер пришёл в себя и крикнул:

– Эй, убирайся отсюда прочь, покуда цел!

Но фигура шла по-прежнему быстро, не останавливаясь. И по мере её приближения солдаты, приговорённые к смерти, чувствовали, что верёвки, которыми они были связаны, сами собой слабнут и сползают с рук.

Вот Он подошёл совсем близко. Лицо Его полно страданием, глаза горят гневом.

– Прочь отсюда! – кричит офицер. – Или я прикажу...

Но слова его замирают на губах.

– Не убий! Не убий! – как гром гремят слова Христа.

– Именем закона...

– Не убий! – властно произнёс снова Христос.

Солдаты опустили ружья, угрюмо уставились в землю.

– Послушайте... я не позволю... – бормотал офицер.

– «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду».

Слова Христа что-то живое задели в душе молодого офицера. Он нерешительно посмотрел сначала на солдат, приговорённых к смерти, потом на священника, потом на Христа...

– Но тогда меня расстреляют... – потупясь, сказал он.

– Не бойся убивающих тело, бойся тех, кто убивает душу!

– Все так делают, – нерешительно проговорил офицер.

Подошёл священник.

– Послушай, чадо, – сказал он, обращаясь ко Христу, – это ты бунт проповедуешь. Нигде не сказано, что убивать нельзя. Это, действительно, в мирное время и по своему собственному желанию. А на войне или по приговору законного суда... дело совсем другое. Ты, я вижу,

начётчик, словами Писания говоришь. Но не всякий, тоже, слова эти понимает. Надо церковь спросить, как она толкует.

– Отойди, сатана, – грозно проговорил Христос, – горе соблазнившему единого от малых сих. Лучше бы ему не родиться вовсе!

– Это бунт! Ты революционер, вот ты кто! – злобно прошипел священник. – Много вашего брата развелось.

Но Христос отвернулся от него и обратился к офицеру.

– «Сберегший душу свою, – сказал он ему, – потеряет её, а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её!

Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим».

Молча, подчиняясь какому-то властному голосу внутри себя, офицер стал снимать вооружение, срывая погоны и, обернувшись к арестованным, сказал:

– Идите!..

Несколько солдат тоже бросили ружья на землю и подошли ко Христу; среди них был коренастый солдатик, первый заметивший Иисуса:

– Мы тоже пойдём... с вами, ваше благородие...

– Димитрий Николаевич! – крикнул священник, молча наблюдавший всё происходившее. – Я батюшке вашему всё расскажу. Огорчите старика... Не по-божьему это. Против присяги пошли. Батюшка ваш, генерал, не перенесут такого срама.

– «Я пришёл разделить человека с отцом его, – сказал Христос, – и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку – домашние его!»

– Ври, ври! – выходил из себя священник, грозя ему кулаком, в котором был крепко зажат крест. – Я вот тебе покажу, сейчас к генералу поеду. Забыл, сектант поганый, что сказано: «Почитай отца твоего и мать твою». Штунда безбожная!

– «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, – торжественно сказал Христос. – И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».

И Христос пошёл к городу. Офицер и несколько солдат пошли за ним.

Оставшиеся, не зная, что делать, с недоумением смотрели им вслед.

– Вернитесь, Димитрий Николаевич! – крикнул священник вслед уходившим.

Но офицер даже не оглянулся.

– Ушёл, – проворчал священник и прибавил, обращаясь к солдатам: – Этакий чудак. Отец генерал. Дом – полная чаша. Невеста, говорили, есть. Охота на рожон лезть. Ну куда теперь уйдёт? Придёт в го род, там арестуют. Эх, молодость! Ни за что погиб человек.

Ну, братики, а вы берите ружья и марш в казармы. Будет вам по стакану водки за верность от командира.

Белые одежды Христа скрылись в утреннем тумане. Встало солнце, и мягкие красноватые лучи его осенили землю теплом и радостью.

VII

Христос со своими спутниками подошёл к городу как раз в том месте, где стояла белая новенькая церковь о. Иоанна Воздвиженского.

О. Иоанн был в это время в церкви и надевал облачение. Ему предстояло хоронить своего доброго друга Лазаря, совсем ещё молодого человека, скоропостижно скончавшегося.

О. Воздвиженский по натуре был человек мягкий и от души жалел бедного друга.

Конечно, бывали и у них ссоры, без этого нельзя, дело житейское.

Недавно ещё Лазарь посмеялся над о. Воздвиженским за его толщину при старости Бардыгине, и очень это обидело о. Иоанна. Он даже не вытерпел и, выйдя провожать Лазаря в прихожую, сказал ему укоризненно:

– Нехорошо надсмехаться над природным свойством.

– Какое же это природное свойство, о. Иоанн, – засмеялся Лазарь, – разве вы родились на свет таким толстым! Просто это от пирогов с ливером.

О. Воздвиженский ничего не сказал на это и, не попрощавшись, ушёл в столовую.

После этого он два дня не был у Лазаря.

«Бедный Лазарь, – думал о. Воздвиженский, посматривая из алтаря на белый гроб, стоявший посреди церкви, – жить бы да жить. Семья хорошая, средства имеются. Вот кому есть нечего, живут, а люди с достатком умирают».

О. Воздвиженский вздохнул.

Церковь наполнялась народом. Сестра Лазаря, Марфа, не будучи в силах смотреть на гроб, вышла из церкви, отошла к ограде и рыдала, закрыв лицо своё руками.

Христос заметил её и подошёл к ней.

– Что с тобой? – тихо спросил Он, прикасаясь рукой к её плечу.

Марфа подняла на Него свои глаза и сказала, сразу заметно успокоившись:

– Умер брат мой Лазарь. Мы жили так дружно, он был добрый такой, ласковый, всегда помогал ближним. За что Бог наказал нас?

Снова слёзы хлынули из её глаз, и она горько плакала.

Христу стало жаль её, и слёзы потекли по Его щекам. И сказал Он Марфе:

– «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Пойдём в храм за Мной.

В голосе Христа была такая спокойная твёрдость, что Марфа, не понимая, что Он собирается делать, пошла покорно за Ним. Взошли и спутники Христа.

Трудно было пройти к гробу, но перед сестрой умершего все расступались.

Бардыгин сразу заметил Христа. Он подозвал к себе Трофимыча и, указывая глазами, сказал шёпотом:

– Опять этот сумасшедший жид пришёл. Ты бы того...

– Слушаю...

Трофимыч, деловито расталкивая молящихся, пошёл за Христом.

Но в это время свершилось нечто неслыханное: Христос остановился у гроба, поднял глаза Свои к небу и сказал громко на всю церковь, так что все услышали Его слова:

– «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего!»

Жутко стало всем от этих загадочных слов, от этого победного голоса.

Марфа упала на колени пред гробом и, рыдая, повторяла:

– Брат, брат!..

Трофимыч подошёл к Христу и хотел взять Его за руку. Но рука Трофимыча стала тяжёлая как свинец, и он не мог пошевеливать ею.

А Христос голосом, подобным грому небесному, произнёс:

– Лазарь, встань!..

И всё затихло в церкви. В ужасе жались друг к другу богомольцы, боясь верить и в то же время предчувствуя, что должно свершиться что-то.

И вот среди общего безмолвия поднялся в своём гробу усопший...

Словно искра пробежала по толпе. Многие в паническом страхе бросились к выходу, давя друг друга, как дикие звери, увидавшие пожар.

– Осанна, осанна! – в иступлении выкрикивала больная юродивая. Неизъяснимый восторг охватил учеников Иисуса. Они громко славословили Христа, и слова сами лились из их уст.

Марфа, рыдая, обнимала Лазаря, который безмолвный, тихий, светлый, как дитя, гладил своею рукою по волосам её.

Бардыгин, совершенно смешавшись, зачем-то спешно прятал деньги в конторку.

Дети внесли в церковь свежие, молодые ветви берёзы и бросали их под ноги Иисуса.

Храм расцвёл...

Восковые свечи потухли сами собой, но ещё никогда не было так светло в храме, никогда так ярко не сиял он. Где-то слышалось пение чистое, радостное, как могут петь только дети.

– Ангелы, ангелы поют! – кричала юродивая. – Осанна Сыну Давидову!

Церковь ликовала, рыдала, верила, надеялась. Церковь жила. Церковь стала необъятной, как мир, как вселенная, как сердце человеческое.

И вышел Лазарь из гроба, пал к ногам Иисуса и облобызал ноги Его.

Из алтаря в полном облачении показался о. Воздвиженский. Вид его был необычен; гневом пылало его лицо.

– Уходи, уходи отсюда! – задыхаясь, крикнул он Иисусу. – Лазарь – мой друг. Я рад, что он жив... Но нельзя в церкви делать этого. Никогда никто не воскрешал мёртвых... Это колдовство... Это выдумки медиумические... Симон Волхв ты... колдун!.. Прочь отсюда!..

Христос не произнёс ни слова и пошёл к выходу; за Ним пошли почти все находившиеся в церкви.

У Бардыгина тряслись руки, и он никак не мог попасть в замок ключом, чтобы запереть конторку с деньгами. К нему подошёл взволнованный до последней степени о. Воздвиженский:

– Я этого так не оставляю... Сегодня же пойду к митрополиту. Это из рук вон. Вот повадился к нам в церковь! То деньги все по полу развалил; то, изволите видеть, мёртвых воскрешает!

– Беспорядок, больше ничего, – едва сдерживая своё волнение, произнёс Бардыгин. От испугу у него не попадал зуб на зуб. – Распустили народ. Вешают мало, вот они и шлятся. А ты б того... – обратился он к стоявшему неподалёку околоточному, – узнал бы, что это за субъект...

В ограде между тем народ плотной стеной окружил Христа и с благоговением слушал Его слова.

Христос говорил:

– «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?»

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые...

Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь...

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного...»

– Виноват, виноват; позвольте, господа! – это околоточный пробирался ко Христу. – Во-первых, я попрошу вас без разрешения градоначальника не произносить публичных речей, – строго, но вполне корректно проговорил он, добравшись наконец до Христа, – иначе вы будете оштрафованы за устройство незаконного собрания до трёх тысяч рублей. А затем я бы попросил сообщить ваше имя, отчество и фамилию.

– Я – Иисус, из рода Давидова.

Околоточный вынул записную книжку и записал.

– Вы прописаны где-нибудь?

Христос молча отрицательно покачал головой.

– Но где-нибудь вы живёте?

– Лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

– Паспорт у вас есть?

Снова Христос молча покачал головой.

– Какого вы вероисповедания?

– Я – иудей...

– В таком случае вы здесь не имеете права жительства! – почти с радостью воскликнул околоточный. – Вы можете жить только в черте еврейской оседлости. И вообще... вы мне кажетесь крайне подозрительны... Я должен вас препроводить в участок!

Толпа угрожающе заволновалась. Околоточного быстро отгеснили за ограду.

– Он – сын Божий! – кричала юродивая.

– Он воскресил Лазаря! – слышались голоса.

Из церкви вышел о. Воздвиженский и, взявши околоточного за рукав, отвёл в сторону.

– Оставь, брат, – сказал он, – хуже – скандал будет. Пошумят и разойдутся. Приходи сегодня на пирог лучше. Потолкуем!..

Прятели пожали друг другу руки и разошлись...

VIII

Митрополит созвал экстренное собрание столичного духовенства.

К девяти часам вечера громадная приёмная митрополита была переполнена.

Полукругом сидели викарные епископы, за ними архимандриты, а дальше протоиереи, священники, несколько диаконов. Сбоку поместились именитые церковные старосты.

О. Воздвиженский, о. Никодим и Бардыгин сидели за особым столом в качестве докладчиков.

Ровно в девять часов отворилась дверь из внутренних покоев, и вышел митрополит.

Все встали при его появлении и в пояс поклонились владыке.

Анания был сухой, высокий старик, с жёлтым нездоровым лицом, круглыми, серыми пронизывающими глазами.

Быстро прошёл он к своему председательскому месту.

Затем все повернулись к иконе, где было изображено распятие Христа, и хором запели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, взявше крест свой, глаголем: Приидите, примите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, являшагося Христа».

Снова в пояс поклонились владыке и чинно сели на свои места.

– Досточтимые отцы и возлюбленные братья, – начал митрополит, когда полная тишина воцарилась в зале. Он отчеканивал каждое слово; голос его был металлически-резкий. – Я пригласил вас сюда ввиду чрезвычайного события. В городе появился зловредный еретик, по имени Иисус, смущающий умы народа! В наше лихолетье не новость появление и безбожных речей, и безбожных дел. Но в появившемся бунтовщике есть нечто особенное. И это-то именно и заставило меня обеспокоить вас.

Конечно, как большинство крамольников, он жид. Как все наши современные анархисты, коммунисты, социалисты и прочие предтечи врага Христова, он полон разрушительных замыслов. Учит он солдат не повиноваться присяге, нарушать долг христианский, учит сопротивляться законному начальству и не исполнять смертной казни, произнесённой законным царским судом. И многое другое.

Всё это не ново. «Вкрались некоторые люди, – говорит апостол, – издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа».

Новое другое здесь. Народ волнуется не от слов его, но от дел. Силою князя бесовского человек этот творит соблазнительные для ума народного деяния, именуя их чудесами. Даже осмеливается вторгаться во святые храмы и воскрешать мёртвых. Сейчас о. Иоанн, о. Никодим, глубокоуважаемый Никанор Никифорович Бардыгин расскажут нам о виденном. И нам сообща предстоит решить со всей серьёзностью, что предпринять на защиту святынь православной церкви. Ибо здесь грозит беда и церкви, и государству.

«Если оставим его так, то все уверуют в него»; и придут англичане, японцы или жида «и овладеют и местом нашим и народом»...

Владыка смолк. Слушали его с напряжённым вниманием, и теперь сразу всё пришло в движение.

Слышались голоса:

– Вешают мало!..

– Это просто переодетый экспроприатор...

– Он, говорят, бежал из тюрьмы...

– Колдун какой-то!..

– Сослать на Валаам, и баста!

Мало-помалу стали стихать.

– Досточтимые отцы и возлюбленные братья, – снова сказал митрополит, – выслушаем очевидцев. О. Иоанн, слово принадлежит вам.

О. Воздвиженский поднялся со своего места, видимо крайне смущённый. Никогда ему не приходилось говорить пред такой большой и, главное, именитой аудиторией.

И в церкви своей, где, кроме Бардыгина, не было ни одного сколько-нибудь значительного человека, и то, когда он говорил проповеди, дрожали его руки. А тут сам высокопреосвященный, епископы, почти всё духовенство...

Несколько мгновений о. Воздвиженский не мог выговорить слова. Наконец мысленно произнёс: «Э, была не была, помилуй, Господи!» и начал:

– Ваши высокопреосвященства, досточтимые отцы и возлюбленные братья! Человек, о котором вы изволите спрашивать, о котором я должен, так сказать, дать показания очевидца и служителя храма, был у нас два раза. Первый раз – как раз у заутрени на Пасхе. Произвёл, конечно, беспорядок. Не к месту, и даже совсем где не подобает, возгласил «Воистину воскрес!». Но тут ничего особенного не произошло. Сторож его моментально вывел. На этом дело и кончилось.

Второй раз пришёл на похороны... Ну, и тут... действительно... сие произошло... я ничего объяснить здесь не могу. Человек я простой, ваше высокопреосвященство; а только что действительно говорит другу моему, это покойнику то есть: Лазарь, говорит, встань! Ну, и тут действительно...

О. Воздвиженский замялся, не зная, как выразиться. Сказать «Лазарь воскрес» ему представлялось неудобным.

– Ну, – нетерпеливо торопил его владыка...

– Лазарь... послушался... встал.

Ропот изумления и негодования прошёл по зале. Епископы крестились. Архимандриты покачивали головами. Священники вздыхали...

– Воистину последние времена, – шептал старичок протоиерей.

– Ну, и что же последовало затем? – спросил он.

– А затем я, ваше высокопреосвященство, велел ему удалиться. Он покорно без всяких сопротивлений ушёл.

– Больше вы ничего не можете сказать, о. Иоанн?

– Более того ничего-с...

– Слово вам принадлежит, Никанор Никифорович.

– Я, ваше высокопреосвященство, к сказанному о. Иоанном могу прибавить весьма немного. Как вышел этот самый субъект из церкви, я послал околоточного Судейкина навести справку, кто он и вообще насчёт благонадёжности.

Результаты, как и следовало полагать, оказались самые очевидные. Веры назвался жидовской, нигде не прописан, и ко всему – живёт без всякого паспорта... Вот всё, что я могу прибавить, ваше высокопреосвященство...

Он сел.

Все с видимым удовольствием слушали речь миллионера Бардыгина. Теперь хоть что-нибудь разъяснилось.

– Ну, понятно, беглый, – слышались удовлетворённые голоса, – ни паспорта, ни вида...

– Ну что за подлый народ эти жида! Ведь отвели им место: живи! Нас не трогай, и мы тебя не будем трогать. Так нет, так и лезут, пархатые...

– Ну, теперь всё ясно, – говорил толстый архимандрит старичку епископу.

– Теперь слово за вами, о. Никодим, – сказал митрополит.

О. Никодим встал. Вид у него был испуганный, съёженный. Ни на кого не поднимая глаза, тихим, прерывающимся голосом и даже забыв сказать обычное обращение, он сказал следующее:

– Ко мне в церковь он пришёл утром. Разбросал деньги по полу. Кричал, что нельзя здесь торговать, что здесь дом Отца... Потом подполз к нему расслабленный. Он повернулся к нему: прощаю, говорит, тебе грехи! Кошунствуешь, говорю. Он ко мне: хорошо, говорит, я ему по-другому скажу. Возьми, говорит, постель и иди. И тот сейчас же, как словно здоровый, встал...

О. Никодим не прибавил больше ни слова и, бледный, взволнованный почти до обморока, сел на своё место.

В зале было тихо. Владыка что-то писал. Отцы задумались.

– Прошу высказаться, – резко прозвенел голос...

Встал толстый архимандрит.

– Я, ваше высокопреосвященство, человек простой. По-моему, на Валаам.

Сел.

Встал седой как лунь епископ Агафангел.

– Ваше высокопреосвященство! По-моему, дело опасное. Народ суеверен. Лжечудеса этого богохульника могут иметь страшные последствия для всего православного мира... Я предлагаю ходатайствовать перед администрацией о немедленном запрещении этому человеку как устной проповеди, так и литературной деятельности; если возможно, кроме того, по этапу отправить на место жительства...

Предложение Агафангела было встречено с большим сочувствием.

Но вдруг на задних рядах поднялся молодой дякон.

– Ваше высокопреосвященство, – сказал он, – я хотел бы сказать вот что. Нельзя судить, не выслушав обвиняемого. Я верю всем свидетелям, конечно; но свидетели описывали факты. Нам важно знать, как их объясняет сам обвиняемый. Я предложил бы послать немедленно за ним. О. Никодим говорил, что он ночует у одного сторожа в его приходе. Времени на всё это потребуется полчаса.

Предложение приняли единогласно. Решено было отправить о. Никодима за Иисусом, а покуда сделать перерыв на полчаса.

* * *

В десять часов вернулся о. Никодим.

– Привёл, ваше высокопреосвященство, – доложил он.

С видимым любопытством стали рассаживаться отцы по своим местам.

Анания занял своё место и, обратившись к келейнику, сказал:

– Впустите его.

Взошёл Христос. Белые, чистые одежды Его были как снег среди чёрных рясов духовенства, среди чёрных монашеских клобуков. Ровным, неслышным шагом вышел он на середину комнаты и остановился перед Ананией...

Благоухание наполнило комнату, словно дыхание весенних полей.

– Отцы собрались здесь, – начал Анания...

– «Отцом себе не называйте никого на земле, – сказал Христос, – ибо один у вас Отец, Который на небесах!»

– Прошу вас не перебивать, – резко остановил Его Анания, – отцы собрались здесь, чтобы решить, как поступить с вами. Нам известно, что вы ходите по городу и сеете смуту; что вы врываетесь в православные храмы и производите там беспорядок. Мы хотели бы, чтобы вы нам дали свои разъяснения.

– На седалище Моём сели книжники и фарисеи... – тихо проговорил Христос.

– Я прошу вас отвечать на вопрос, – снова прервал Его Анания...

И вдруг, словно огнём, осветилось лицо Христа. В испуге отшатнулись от него епископы и протоиереи, Анания сгорбился и припал к столу.

Послышался голос Христа, голос гнева, безжалостный, как бич, справедливый, как может быть справедлива только одна любовь Божия:

– «Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете!»

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение!

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что исполняете с точностью внешнее благочестие, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру.

Вожди слепые, оцезивающие комара, а верблюда поглощающие!

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Горе вам! книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Но если бы к вам пришёл пророк, вы избili бы и замучили ещё более жестоко, чем отцы ваши.

«Дополняйте же меру отцов ваших.

Вы – змеи! Вас породила ехидна! Как убежите вы от осуждения в геенну?»

Вот поэтому Я пошлю к вам пророков, и мудрых, и праведных; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить даже в церквах ваших и гнать из города в город.

Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови тех, которых вы убиваете в наши дни!»

И повернувшись к именитым старостам, Христос продолжал:

– «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете».

И умолкнув, повернулся и быстро вышел вон.

Изумление и ужас сменились яростью, бешенством! Оскорбить всё собрание, на котором иным заслуженным архиереям было уже по восьмидесяти лет! Вместо оправдания наговорить кучу дерзостей, и перед кем: перед лицом всего столичного духовенства в присутствии самого митрополита! Это было слишком. Совещаться больше было не о чем. Все понимали, что теперь остаётся одно.

– Досточтимые отцы, возлюбленные братья, – прерывающимся голосом начал Анания. – Завтра я буду у генерал-губернатора, а теперь объявляю заседание закрытым.

Снова все поднялись, снова обратились к Распятию и стройно запели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, взявше крест свой, глаголем: Приидите, примите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа»...

IX

У Бардыгина был сын, нисколько на него не похожий. Худой, болезненный, задумчивый; он целыми днями сидел за книгами. Звали его Колей.

Отец не очень любил своего сына и часто с тревогой посматривал на него. «На кого только фабрику оставлю, как умру? – думал он. – Всё бы ему книги, всё бы философия разная».

Пробовал Бардыгин приучать его к «делу», но ничего не вышло. Тогда он решил вышибить из головы его дурь другим путём. «Только бы его от книг этих проклятых избавить, а там как по маслу пойдёт всё. Малыш не дурак!»

Стал возить его в театры и в разные увеселительные места. Нет, ничего не выходит. Посоветовался с о. Иоанном.

– Женить надо, – с уверенностью сказал тот.

Стали искать ему невесту. Но когда нашли, Коля сказал очень твёрдо, так что отец даже удивился, откуда у него такая прыть взялась, что, мол, жениться не хочу ни на этой невесте, ни на какой другой. Бардыгин тогда махнул рукой:

– Авось вырастет, поумнеет.

Этот самый Коля присутствовал на заседании у митрополита. Его взял с собой отец. Он слышал всё от первого до последнего слова и, когда Христос пошёл к выходу, никем не замеченный вышел с Ним.

Долго он шёл за Христом, не решаясь подойти к Нему.

Ночь тёмная, улицы пустые, жутко было. Христос в белой одежде своей не был похож на человека здешнего мира; потом, эти странные рассказы про чудеса...

Наконец он решился и робко окликнул Христа:

– Учитель благий!

Христос остановился и повернулся к нему. Лицо Христа было бледное, измученное, крупные капли слёз дрожали в Его глазах.

– Что сделать мне доброго, – нерешительно проговорил юноша, – чтобы иметь жизнь вечную?

– «Что ты называешь Меня благим? – ласково сказал Христос. – Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди»...

– Какие?

– «Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя».

– Всё это сохранил я от юности моей, – горячо ответил юноша. – Чего ещё недостаёт мне?

Христос пристально посмотрел ему в глаза. Коле показалось, что вся душа его осветилась от этого взгляда.

Лицо Христа стало строгим, и Он сказал:

– «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною».

Тень печали прошла по лицу юноши. У него было столько планов! Он хотел по окончании учёнья поехать за границу, объездить весь свет, всё увидеть, всему научиться; а вернувшись, посвятить себя общественной деятельности.

Коля безмолвно стоял, поникнув головой.

Христос сделал движение продолжать свой путь дальше.

– Послушай, – остановил Его Коля, – неужели иначе нельзя? Неужели это необходимо?

– «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», – отвечал Христос.

– Почему же о. Иоанн учит в церкви, что это от Бога, что так и должно быть, чтобы одни были богатые, а другие бедные? Одним для спасенья души нужна нищета, другим, напротив, богатство, чтобы они могли творить дела милосердия.

– Разве ты не знаешь, что, когда ближний просит рубашку, нужно отдать ему и верхнюю одежду?

– Знаю.

– Разве ты не знаешь, что нужно любить ближнего, как самого себя?

– Знаю, Учитель!

– Но, если ты будешь любить ближнего, как самого себя, можешь ли ты быть богат, когда есть нищие? И много ли останется от богатства твоего, если ты всякому будешь отдавать не только рубашку, но и верхнюю одежду?..

Коля не знал, что ответить, но и отказаться от всех своих грёз, от всего, о чём он мечтал с таким жаром, о чём долгие вечера разговаривали они с другом Мишей, не хватало духа.

И опустив голову, он пошёл прочь от Иисуса.

Х

Молва о необычайном проповеднике в белых одеждах разнеслась далеко за пределы столицы.

Народ вереницей сопровождал Иисуса, и там, где останавливался Он и начинал учить, быстро собиралась громадная толпа народа. Покуда наряд полиции успевал явиться к месту соборща, Иисус уже учил в другом месте, и другая толпа с напряжённым вниманием слушала такие новые для неё слова.

Но далеко не все одинаково сочувствовали тому, что говорил Христос.

Случалось, что кто-нибудь из толпы резко прерывал Его, задавал вопросы с явным намерением обличить Христа или в сектантстве, или в политической неблагонадёжности. Но Христос, к радостному изумлению большинства, всегда несколькими словами, простыми и ясными, без труда разбивал козни врагов. Это приводило их буквально в ярость; и тогда они начинали грозить Ему тюрьмой и виселицей.

На другой день после заседания у митрополита Христос рано утром вышел на площадь. Его уже ждал народ, потому что Он часто приходил туда.

Христос чувствовал, что недолго Ему остаётся учить, и потому с какой-то особенной тихой лаской смотрел на окружавшую Его толпу. Это были по преимуществу простые люди: приказчики, дворники, прислуга. В отдалении стояло несколько священников, несколько дам, какой-то офицер в николаевской шинели.

Христос говорил:

– «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был наг, и вы одели Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом».

Вы должны или последовать за мной, или не называться моими учениками, но открыто признать себя язычниками.

«Никакой слуга не может служить двум господам. Нельзя служить Богу и мамоне». Что высоким считается у людей – богатство, чины, роскошь, слава, – то мерзость пред Богом!

«Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится!

Приидите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас!»

В это время из толпы ко Христу подошёл высокий седой старик, сборщик на построение храма, в каком-то полумонашеском одеянии.

– Сладко поёшь, – насмешливо сказал он, – где-то сядешь? Откуда такой взялся?

– Я – Иисус из Назарета, – проговорил Христос.

– Ну, этого я там не знаю, а, только что, на улицах народ мутить нельзя... вот что. Про каких это ты тут двух господ толкуешь... Тоже, небось, понимаем вашего брата; небось, оба кармана прокламациями набиты. Недаром балахон-то надел.

– А ты не мешай ему! Дай послушать... – вмешался какой-то молодой парень.

– Много ты понимаешь, – презрительно бросил ему старик, – тут против Царя и церкви православной средь бела дня митинг устроили, а ты: «Дай послушать».

– Да что ты сам-то смыслишь! Ничего тут против Царя сказано не было. Говорят тебе: Богу, так Богу, а хочешь мамоне, валяй мамоне.

– А вот я сейчас тебе покажу!

И обратясь ко Христу, старик сказал:

– Ну-ка, любезный: позволительно ли Царю подати платить?

Он подмигнул толпе и остановился в ожидании.

Всех заинтересовал этот вопрос. С ожиданием следила толпа за бледным лицом Христа. Христос поднял Свои задумчивые глаза и спросил:

– Есть у тебя какая-нибудь монета?

Старик недоумевающе уставился на Христа:

– Да ты что?! Экспроприатор, что ли?

– Давай, давай, уж он знает! – нетерпеливо понукали его со всех сторон.

Старик достал рубль:

– Вот, на! Рубль даю.

Христос не взял монету в руки, а только спросил:

– Кто изображён здесь?

– Ну что ты разыгрываешь-то, – с неудовольствием проворчал старик, – знаешь, кто: Государь Император.

– Так вот и отдавай Царю то, что ему принадлежит. Ну а Божье Царю отдавать нельзя.

Купец молча спрятал рубль и отошёл.

А по толпе пронёсся гул восторга. Но это был не легкомысленный восторг от внешней красоты ответа Христа. Видно было, что простые сердца поняли, что хотел сказать Он, и поняли, сколько скорби, сколько жестокостей влечёт за собой проведение этого ответа в жизнь.

Христос поднялся, чтобы идти в другое место, ибо опасно было оставаться на одной площади слишком долго.

– Ты теперь куда пойдёшь, Учитель? – спросил Его один человек из толпы. – Мне бы хотелось после догнать Тебя.

– А ты для чего хочешь уйти? – спросил его, в свою очередь, Христос.

– Сегодня похороны моего отца.

– «Иди за Мною, – повелительно сказал Христос, – и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов».

И человек из толпы, ни слова не говоря, пошёл за Иисусом.

– Ах ты, безбожник, – укоризненно говорила им вслед какая-то старуха, – ни жалости, ни стыда, а ещё на слово Божие ссылается...

Когда Христос прошёл несколько улиц, к Нему приблизился очень юный молодой человек, видимо взволнованный и опечаленный.

Христос узнал в нём одного из Своих учеников.

– Что с тобой? – спросил Христос.

– Учитель, – чуть не плача, проговорил юноша, – ты велел нам посещать заключённых в темницах. Я пошёл, но меня они не пустили, требовали пропуск, спрашивали, к кому и по какому делу. А когда я сказал, что хочу в темницу не к родственнику и не к знакомому, а потому, что Иисус велел посещать заключённых, они стали смеяться надо мной, а потом чуть не избили меня.

– Утешься, – сказал ему Христос, – так поступали и с пророками, бывшими прежде вас...

XI

Ровно в двенадцать часов карета митрополита остановилась у дома генерал-губернатора. Анания, в праздничной шёлковой рясе, в белом клобуке, по парадной мраморной лестнице взошёл в приёмную.

Низко кланялись ему лакеи, низко кланялись какие-то генералы и штатские в приёмной. Анания привычным жестом благословлял их, но лицо его было озабоченно и строго.

Генерал-губернатор сейчас же принял владыку.

– Я к вам, ваше превосходительство, – начал митрополит, усаживаясь в глубокое бархатное кресло, – по весьма важному делу.

– Чем могу служить вашему высокопреосвященству?

– Извините меня, ваше превосходительство; конечно, я не осмелился бы вторгаться в вашу, так сказать, гражданскую область, но есть нечто, что слишком соприкасается одновременно и с церковью, и, так сказать, с администрацией. Так вот, не изволили ли вы слышать, ваше превосходительство, о некоем человеке в странном одеянии, который расхаживает без паспорта по улицам столицы и учит народ не повиноваться Государю и Православной Церкви?

– Да, до меня доходило что-то такое, ваше высокопреосвященство, но нечто весьма туманное, так что я даже не мог понять, в чём дело, и полагал, что это или душевнобольной, или сектант.

– Вы отдали какое-нибудь распоряжение, ваше превосходительство?

– Да, я приказал наблюдать... и в случае чего донести мне.

– Ваше поручение, осмелюсь заметить, ваше превосходительство, – нервно передёргиваясь, проговорил владыка, – исполняется в высшей степени халатно.

– Вы меня тревожите, ваше высокопреосвященство.

– Это не сектант и не сумасшедший, это нечто похуже анархиста!

– Не может быть... Что же, и бомбы... и вообще...

– Он открыто призывает войска к возмущению, он врывается в зал заседания суда, он разгуливает, как ни в чём не бывало, по всем улицам, устраивает за городом массовки. И кроме того, творит срам и гнусность в православных храмах.

– То есть... что же, собственно, экспроприации... или... вообще...

– Лжечудеса, ваше превосходительство!

Генерал-губернатор несколько секунд с изумлением смотрел на владыку.

– Чу-де-са!.. – отдельно проговорил он.

– Лжечудеса, ваше превосходительство.

Генерал-губернатор поёжился на своём кресле:

– Но, ваше высокопреосвященство... это уж касается, так сказать, духовной администрации.

– Я полагаю, ваше превосходительство, что здесь затронуты оба ведомства.

– Да, конечно, косвенно это касается и нас. Но, однако, какие же это чудеса творит этот негодяй?

– Воскрешает мёртвых.

Генерал-губернатор чуть не упал со своего кресла.

На минуту он был в уверенности, что владыка спятил. «Впрочем, может быть, я сплю, – бормотал генерал, – я читал где-то, что бывает что-то в таком роде». И незаметно для владыки ущипнул себя за ногу: «Нет, ничего, чувствую... Странно...»

– Да-с, ваше превосходительство, осмеливается врывать в православные храмы и там воскрешать мёртвых!

– Изумительно, – проговорил генерал-губернатор, с трудом приходя в себя.

С минуту молча смотрели друг на друга два администратора. Вдруг генерал-губернатор просиял:

– Теперь я всё понимаю! Очень, очень вам благодарен, ваше высокопреосвященство. Это, безусловно, относится к министерству внутренних дел. Не говорите более ни слова. Я сейчас скажу по телефону, и всё будет сделано.

– Уж будьте так добры, ваше превосходительство.

– Можете быть покойны, ваше высокопреосвященство. Ещё раз очень, очень вам благодарен.

И он с чувством поцеловал руку, которая благословляла его.

XII

О Христе говорил весь город. Рассказ о воскрешении Лазаря переходил из уст в уста. Многие не верили, но все интересовались.

Известный врач Рыбников сделал очень научное предположение, что тут мы имеем дело со своеобразным видом гипноза, действующего на летаргию.

Другой учёный выразил предположение, что, скорей, мы здесь имеем дело с сомнамбулическим явлением.

Зоя призналась Нике, что вот уже три ночи не может заснуть, всё ей мерещится воскресший Лазарь.

Матушка Анна Петровна, жена о. Воздвиженского, на всякий случай велела окропить квартиру святой водой.

Появилось новое обязательное постановление, запрещающее хоронить усопших в открытых гробах.

Все чего-то ждали. Какое-то новое выражение появилось на всех лицах: что, мол, не слышали ничего... такого?..

И вдруг по городу разнёсся слух. Слух самый обыкновенный, но как-то всех необычайно ошеломивший.

Проповедника в белой одежде арестовали!..

Конечно, это было так естественно, но всё же это так не гармонировало со всеобщими ожиданиями, в которых не все признавались, но которые все носили где-то глубоко в своей душе.

Чудо... воскрешает мёртвых... новый пророк...

И вдруг всё так просто, повседневно. Пришли полицейские и преспокойно посадили в кутузку чудотворца!

Все считали себя даже несколько как бы обиженными.

Нечего было и народ смущать, и подавать поводы к разным надеждам. И лучше бы лежал этот Лазарь, как подобает покойнику, в могиле, а то шум, разговоры, а из-за чего, спрашивается?

Немногие жалели Христа.

– Я сегодня назло ему не пошла в гимназию и встала в двенадцать часов дня, – сказала Зоя Нике.

– Испеки-ка, мать, пирог с вязигой по этому случаю, – добродушно сказал о. Воздвиженский своей супруге.

– А нашего-то чудотворца забрали! – весело сказал один учёный другому учёному, встретившись с ним в университете.

Христа арестовали за городом, поздно вечером.

С немногими учениками Своими, по обыкновению, пошёл Он за город в любимую берёзовую рощу.

Когда стемнело, рощу окружили солдатами, и на ряд полиции человек в двадцать явился арестовать Христа.

Ждали сопротивления, и потому все были вооружены с головы до ног.

– Как будто на разбойника, вышли вы на Меня в полном вооружении, – сказал им Христос. – Разве не каждый день учил Я открыто на улицах города?

Полицейские смутились от этих простых слов Христа, сказанных без всякого гнева: не такого преступника ждали они найти.

Словно агнец непорочный, шёл Христос в Своих белых одеждах, окружённый толпой вооружённых солдат и городских.

А в это время митрополит Анания стоял у телефона и звонил к генерал-губернатору:

– Это вы, ваше превосходительство?

– Я, ваше высокопреосвященство!

– У меня к вам большая просьба, да я только не знаю, не явится ли это, так сказать, нарушением законов Империи?

– Помилуйте, ваше высокопреосвященство, всё, что в моей власти, я готов для вас сделать.

– Я всё насчёт того бунтовщика... Помните?..

– Ну разумеется. Он уже взят, ваше высокопреосвященство. И, представьте, без всякого сопротивления. Сейчас сообщил мне по телефону пристав. Не извольте больше беспокоиться. Можете спокойно предаваться служению Всевышнему.

– Нет, я не о том. Мне уже сообщили, что он взят. Я бы хотел иметь с ним свидание.

– Очень хорошо.

– Но, вы понимаете, ваше превосходительство, в моём сане неудобно посещать тюрьмы, особенно в такое лихолетье... это может возбудить толки.

– Ну разумеется, я понимаю, ваше высокопреосвященство. Сегодня же арестованный будет доставлен в ваши покои.

– Глубоко благодарен вам, ваше превосходительство.

– Помилуйте, ваше высокопреосвященство!

ХІІІ

– Я призвал тебя, чтобы говорить с тобой как пастырь с заблудившейся овцой, – сказал Анания, когда келейник ввёл Иисуса в низкий, тёмный кабинет митрополита.

Христос молчал.

Круглые, острые глаза Анании внимательно всматривались в лицо Иисуса.

– Ты должен быть со мной откровенен. В моих руках твоя участь.

Христос по-прежнему не произносил ни слова и прямо смотрел в лицо Анании.

Владыке стало жутко, и он, чтобы скрыть своё смущение, сказал:

– Что же ты ничего не отвечаешь?

– Зачем ты звал меня? – спросил Христос.

– Я звал тебя для того, чтобы всё обошлось без суда, чтобы ты раскаялся во всех своих делах. Ты молод, ты мог их совершить по неопытности, по увлечению...

– В чём хочешь ты заставить раскаяться меня?

– Ты не признаёшь Церковь, – сурово сказал Анания.

– Какую?

– Церковь одна. Святая православная Церковь.

– Да, Церковь одна, – сказал Христос, – единая Церковь Христова.

– Ты играешь словами. Я не для шуток позвал тебя.

Анания нахмурился. Руки его быстро перебирали чётки.

– Ты знаешь, что Христос оставил Евангелие, а не Церковь. Церковь строилась долгие века. Церковь – это сонмы святых, от мучеников первых веков до затворников наших.

– Да, – сказал Христос, – среди мучеников первых веков было много святых, были и среди затворников. Но почему ты говоришь о них? Они – Церковь Христова.

– Но тогда ты, значит, хочешь сказать, что ты не признаёшь всего того учения, которое создано веками, зиждется на предании отцов наших?

– Вы, оставив заповедь Божию, как фарисеи две тысячи лет назад, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое подобное этому.

Анания едва сдержался, чтобы не прогнать от себя узника. Но что-то властно притягивало его к Нему.

Анания снова пристально посмотрел на Христа.

Комната была почти тёмная, свет из-под абажура падал лишь на стол.

И лицо Христа, бледное, с глубокими, необычайным светом сиявшими глазами, словно в чёрной раме выступало из темноты.

Анания впервые заметил необычайное сходство узника с нерукотворённым образом Христа.

Страх и желчная ненависть сжали его сердце.

И вот, приподнимаясь со своего места и в упор глядя в глаза Иисуса, он тихо, но твёрдо спросил Его:

– Кто ты?

Христос молчал.

– Заклинаю тебя Богом живым, – возвысил голос владыка, – скажи мне, кто же ты, наконец?

– Христос воскресший.

Владыка отшатнулся от Иисуса и, прижимая чётки к груди своей, прошептал:

– Богохульствуешь...

Христос безмолвно смотрел на него из чёрной рамы как образ нерукотворённый.

– Постой, нас никто не слышит. Тебе не для чего лгать. Я слишком стар, чтобы поверить твоей сказке... Чем ты можешь подтвердить слова свои?

– Слова Мои и дела Мои свидетельствуют обо Мне.

– Дела? Да, конечно, ты воскресил Лазаря. Но читал, что писали в газетах: это могла быть простая летаргия... Да и потом, я не видал этого.

– Послушай! – и Анания почти в упор подошёл к Иисусу. В глазах его вспыхивали огоньки. – Послушай. Сделай что-нибудь здесь... Хоть какое-нибудь знамение. Ну, пусть передвинется эта лампа... Понимаешь, я уверую в тебя сейчас же... Если можешь, ты должен это сделать. Должен для спасения людей. Ибо, если уверует митрополит, уверует и вся Церковь, если ты...

– «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, – гневно перебил его Христос, – и знамение не дастся ему».

– Ага... Я знал, что ты мне ответишь так, – почти крикнул владыка в лицо Христу, весь передёргиваясь от бешенства. – Ты бессилён это сделать с глазу на глаз, когда нет толпы. Для твоих фокусов нужна обстановка!.. Христос воскресший! Ну, посмотрим, воскреснешь ли ты, когда тебя вздёрнут по приговору военного суда!

И вытянув руку, в которой дрожали чётки, митрополит проговорил:

– Ступай!

XIV

На улицах перед зданием суда, во дворе, по коридорам – всюду были усиленные наряды полиции.

По городу прошёл слух, что черносотенцы хотят захватить Христа и расправиться с ним самосудом.

Генерал-губернатор отдал распоряжение, в случае если Христа оправдают, немедленно арестовать Его в административном порядке.

Публику пускали в зал суда по билетам. Было много высокопоставленных дам, которые в лорнет с любопытством осматривали подсудимого.

Христос сидел на скамье подсудимых, погружённый в Свой думы. Два жандарма с шашками наголо стояли за ним.

В одиннадцать часов пристав громко произнёс:

– Прошу встать. Суд идёт!

Медленно взошёл председатель судебной палаты, предводитель дворянства в камергерском мундире и другие сословные представители. За ними с портфелем в руках и озабоченной физиономией взошёл прокурор, очень худой, высокий господин средних лет, лысый, в пенсне.

Начались обычные вопросы.

– Как ваше имя и фамилия?

– Иисус из рода Давидова.

– Откуда родом?

– Из Назарета.

– Как? – переспросил председатель.

– Из Назарета, – спокойно повторил Христос.

– Но вы русский подданный?

– Один Владыка мой и Отец, Господь Бог!..

– А!.. – не без иронии протянул председатель. – Вероисповедания?

– Я – иудей.

– Сколько вам лет?

– Тридцать три.

– Звание ваше?

– Сын плотника.

Затем председатель спросил Христа, признаёт ли Он себя виновным в том, что учил народ не убивать, не судить, слушаться Бога больше, чем Царя, хулил православную церковь и, наконец, творил ложные чудеса и сеял суеверие, говоря, что он Христос воскресший.

Христос выслушал всё молча и, не ответив ни слова, сел на Своё место.

Председатель пожал плечами и велел ввести свидетелей.

Взошло несколько человек, часто ходивших вместе с Иисусом. Кроме того, Бардыгин, о. Воздвиженский и о. Никодим.

– Свидетели, – обратился к ним председатель, – вам, за исключением священнослужителей, предстоит принять присягу. Помните, что вы должны показывать одну только правду, как перед Богом; за всякую ложь вы будете отвечать перед законом.

Свидетели подошли к аналою, около которого ждал их старичок-батюшка.

Вдруг в зале раздался голос Христа:

– «А я говорю вам, не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его... Но да будет слово ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого».

– Господин подсудимый, – строго остановил Его председатель, – прошу вас говорить, только когда вас спрашивают.

Приняли присягу. Начались свидетельские показания.

Свидетели подтвердили всё сказанное в обвинительном акте.

Да, Христос действительно ходил по улицам и учил, что не надо убивать, судить, клясться; что Божие нужно отдавать Богу, а Царю Божие отдавать нельзя; воскресил Лазаря, силой ворвавшись в церковь.

Наконец слово было предоставлено прокурору.

Высокий, лысый человек встал и начал говорить. Говорил он красиво, убедительно, с искренним воодушевлением. Это был человек набожный и горячий патриот.

– Господа судьи и сословные представители! – говорил он. – Мне нечего доказывать вам виновность подсудимого. Она уже доказана единогласными свидетельскими показаниями. Я хочу лишь разъяснить суду всю важность настоящего дела, чтобы потребовать самого строгого наказания. Подсудимый, господа судьи, в своих преступлениях не останавливается ни перед чем. Не только он учит народ не убивать, когда этого убийства требует безопасность родины; не убивать, когда этого требует коронный суд; не только свершается кощунственное воскрешение мёртвого – он идёт дальше, рассчитывая на невежество масс: он выдаёт Себя за воскресшего Христа.

Господа! Мы все любим нашу великую Россию, и все хотим ей одного только блага; а если так, то нам должно строго карать всех, кто осмеливается потрясать её священные основы.

Христос учил быть покорным всякому человеческому начальству; Христос создал церковь православную; Христос через апостолов благословил смертную казнь, поразив Ананию и Сапфиру; Христос благословил христолюбивое воинство и праведный суд.

Разрушающий эти святые заветы под прикрытием слова Божия – не только преступник, но и безбожник.

Господа, я требую для подсудимого высшей меры наказания.

Речь прокурора произвела глубокое впечатление. Председатель, чтобы скрыть слёзы умиления, стал сморкаться.

Несколько дам усиленно из флакончиков нюхали нашатырный спирт: они боялись, что им сделается дурно.

Но когда зал несколько успокоился, председатель обратился к обвиняемому:

– Слово принадлежит вам.

Все с любопытством обернулись к Иисусу. Что мог сказать этот загадочный человек, не боявшийся называть себя Христом и какой-то тёмной силой, почти колдовством, воскресивший Лазаря.

Но Христос не произнёс ни одного слова.

В зале было полное разочарование. Молодые помощники присяжных поверенных были уверены, что обвиняемый отделает прокурора.

Едва суд поднялся, чтобы удалиться для совещания, как грозные крики понеслись из коридора. В публике началась паника.

Оказалось, что разъярённая толпа, не будучи в силах дожидаться конца судебного заседания, оттеснила полицию и ворвалась в суд.

Напрасно сторожа пытались остановить. В ярости бросились озверевшие люди в зал, почти смяли пристава, публику и завывали, увидав Христа:

– Вот он! Вот безбожник! Распять его! Пусть издохнет жид жидовскою смертью. Хочешь Христом называться – так на крест его!

В несколько минут сломана была решётка; несколько грубых рук схватили Иисуса, и разъярённая толпа почти на руках понесла Его к выходу.

У входа в суд, на дворе и на улице стояло несколько тысяч человек.

Дикими криками встретили они Христа. Казалось, все сейчас готовы были броситься на Него и растерзать Его в клочья.

– Слушайте, народ! Слушайте! – напрягая шею, кричал какой-то человек в поддёвке.

Когда несколько стихло, он, громко выкрикивая каждое слово, сказал:

– Обманщик-жид в наших руках. Он назвал себя Христом...

Буря негодования снова охватила толпу, снова яростные крики смешивались с площадною бранью, и десятки рук потянулись к Иисусу.

Ещё с большим трудом удалось успокоить толпу.

– Собаке собачья смерть! – снова стал выкрикивать тот же голос. – Пусть же он будет распят. Выведем его за город и повесим на крест, как подлую собаку...

Хохот, ругань, ликующие неистовые крики были ответом на это предложение.

– Распнём! Распнём его! – гремела толпа.

Иисуса схватили и повлекли за собой.

Полиция даже не пыталась вмешиваться: жида бьют, значит, можно.

А народ со свистом, гамом и руганью вёл Христа за город. Какой-то шутник сделал из крапивы венки и надел его на голову Иисуса. Гул одобрения приветствовал эту шутку. Многие плевали Ему в лицо и говорили: «Радуйся, Христос воскресший!»

Какой-то господин в бобрах несколько раз с ожесточением ударил Христа по голове тростью.

– Христос идёт! Христос идёт! – визжали мальчишки и дёргали Христа за одежду, бросали в Него грязью.

Недалеко от той площади, где чаще всего учил Иисус, навстречу толпе шёл крестный ход с хоругвями, с иконами, крестами, с целой вереницей духовенства.

Узнав, кого это ведут, многие отстали от крестного хода и пошли с толпой за город распинать Христа.

И чем дальше шла толпа, тем всё увеличивалась она, тем сильнее ярость опьяняла её. И они били Христа по лицу и спрашивали: «Ну-ка, узнай, кто Тебя ударил?»

Пришли за город; откуда-то принесли досок, сделали крест и под вой неистового восторга начали приколачивать Христа ко кресту.

– Знай наших, жидорва! – в исступлении орал человек в поддёвке. – Вот тебе казнь православная. Мало вам Кишинёва, пархатые, сюда прилезли!..

– Распни! Распни его!.. – неистово неслоь отовсюду.

Кровь лилась из рук и ног Иисуса, но измученное лицо было светло и спокойно.

Подняли крест. Народ увидел распятого. На одно мгновение что-то, похожее на колебание, почувствовалось в толпе.

Но человек в поддёвке заорал:

– Ура! Да здравствует жидорва!..

И, как внезапная буря, ярость с удвоенной силой охватила народ.

Столб врыли в землю. отошли от него и стали бросать в распятого чем ни попало.

– Ну-ка, воскресни, воскресни! – совсем опьянев, орала поддёвка.

И вдруг из чистого, голубого неба пронёсся грозный раскат грома.

Толпа стихла.

Новый удар, ещё грозней и ужаснее. И наступила тьма.

И был слышен чей-то голос с неба:

«Да, Он воскреснет. Но Он больше уж не придёт учить вас. Он придёт судить. Судить тиранов, жестоких поработителей народа, всех гонителей, обagrивших землю святой человеческой кровью. Судить больших и малых инквизиторов, которые именем Его жгли, творили неслыханные злодеяния, грабили, обманывали, казнили, мучили, пытали, гноили в тюрьмах.

Он скажет им, что напрасно думали они, что чаша гнева Господня не переполнится никогда. Нет, беззакония можно творить до срока. Через всю историю земли прошёл Иисус и на протяжении всей истории били Его, плевали в Его лицо, надевали на Него терновый венец, распинали Его на кресте.

Сколько раз приходил Он, сколько раз не узнавали Его и возводили на лобное место. Больше Он не придёт учить.

Ждите Его страшного суда, все вы, пресыщенные богачи, оскверняющие жизнь похотью; земные владыки, превратившие свободных детей Божиих в рабов и подданных; пастыри, продавшие Церковь князю мира сего!

Ждите! Явится знамя Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою!..»

Эпилог

Книга эта написана не великим апостолом. Автор её самый обыкновенный смертный, имевший наивную привычку с любовью читать Священное Писание и от природы не лишённый живого отношения к окружающему.

Она написана не по вдохновению свыше; а потому, согласно действующим законам страны, в которой она написана, была представлена в цензурный комитет.

На заседании цензурного комитета старший цензор, человек очень желчный и решительный, сказал:

– Ну, об этой книге не может быть двух мнений: книгу следует конфисковать, и как можно скорее! Книга более чем вредная...

– Но... собственно, – нерешительно заметил молодой цензор, – какие же статьи закона нарушены в ней? Ведь, кажется...

– Все статьи! – перебил его старший цензор. – Призыв к бунтовщическим деяниям, оскорбление суда, оскорбление Величества, хула на православную церковь... Это не Христос – это анархист... Это Бакунин!.. Это чорт знает что такое!.. За одно название в Сибирь мало... на виселицу мало...

Цензор выпил воды. Никто более не произнёс ни слова.

И цензурный комитет единогласно постановил: «Книгу Вал. Свенцицкого “Второе распятие Христа” конфисковать и возбудить против автора судебное преследование по возможности по всем статьям Уголовного уложения».

Молодой цензор внёс тогда новое предложение.

Ввиду того, что почти всё, что говорит Христос в этой книге, представляет из себя сплошной плагиат из другой книги, называемой Евангелием, то не сочтёт ли цензурный комитет нужным возбудить ходатайство пред соответствующим учреждением об изъятии Евангелия из продажи...

– Нет... это излишне, – подумав, сказал старший цензор, – к Евангелию... так сказать, привыкли... Нет, Евангелие ничего!..

Антихрист

Записки странного человека

И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

Отк. 13, 8

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение.

1 Ин. 4, 18



Часть первая

Вместо предисловия

Я хочу написать свою исповедь. Но кто верит публичной исповеди? Да и какое имею я право публично исповедываться? Для этого нужно быть Августином, Руссо или Толстым. А я – только странный человек. Кому нужна моя исповедь? Между тем, я чувствую, что исповедаться мне необходимо, и именно публично. Почему?.. Но может быть, это станет ясным из дальнейшего. Покуда поверьте на слово, что это необходимо.

С одной стороны – необходимо, с другой – невозможно. Как выйти из этих противоречий?

Я решил на очень рискованный, но единственный пришедший мне в голову выход: я решил свою исповедь озаглавить «Записки странного человека».

С первого взгляда может показаться непонятным, в чём тут выход. Разве что-нибудь меняется от заглавия? Уверяю вас, очень даже меняется. И я уверен, что при таком заглавии мне никто не поверит, что я исповедуюсь.

В самом деле, что бы ни написал я, какую интимнейшую сторону, фактическую ли, психологическую ли, ни затронул, с какою бы точностью она ни соответствовала действительности, я знаю наперёд, что всякий читатель подумает: это он нарочно от своего имени пишет, это так себе, литературная форма, для живости, так сказать, рассказа.

Если же я, раз в жизни с действительной откровенностью, в этих «Записках» выложу всю грязь, всю путаницу, всю тьму своей души, мне никто не скажет, что ты, мол, мерзавец, а подумает: автор, должно быть, хороший человек, коли такого мерзавца сумел описать.

Если же, наоборот, я вздумая рассказать о чём-нибудь хорошем в себе, я уверен, что этому хорошему все порадуются от души. Да и почему не порадоваться, когда в *литературном* типе найдутся положительные стороны? О герое «Записок» не подумают, как об авторе «Исповеди»: прекраснотушничает, рисуется – говорит, хочу каяться, а сам хвастается.

Итак, что невозможно для «Исповеди», то возможно для «Записок».

Одно только меня пугает, и так пугает, что я чуть-чуть даже из-за этого вовсе не отказался писать «Записки». Дело в том, что я как странный человек буду писать, конечно, странные вещи; но так как они в большинстве случаев будут далеко для меня не лестны, то, несомненно, пиши я «Исповедь», меня могли бы назвать каким угодно ругательным словом, но, во всяком случае, *приняли бы всё за чистую монету*.

Теперь же, в «Записках», все эти странности будут отнесены за счёт неумелости автора, усмотрят «стремление к эффектам», нарушение художественной правды и массу других преступлений – словом, *не поверят*. Боюсь, что скажут: в действительности это невозможно, это выдумка. Не в самолюбии тут дело. Но каково это слушать человеку, который знает, что всё написанное им безусловная правда, и который готов ручаться за каждое написанное им слово...

Но другого выхода нет, и приходится пренебречь этим неудобством.

Дабы с первых же страниц у меня с читателями не возникало недоумений, я должен ответить ещё на один вопрос, который предвижу: «Если вы так хотите, чтобы ваши записки не приняли за “Исповедь”, то зачем вы изо всех сил хотите доказать, что это есть именно “Исповедь”?.. Ведь если читатель поверит всему тому, что сейчас здесь написано, он отнесётся, очевидно, к “Запискам” не как к литературному явлению, а как к “Исповеди”, и тогда никакого “выхода” не получится...»

Вот в том-то и дело, что это «очевидно», а потому всякий читатель будет рассуждать так: знаем мы вашего брата, всё это литературные выкрутасы, будь это действительно «Исповедь»,

разве бы он всё это так откровенно написал бы. И даже те, которые без всяких предисловий ещё склонны были бы подумать: не о себе ли, мол, автор пишет, – теперь, после этого предисловия, как бы я ни божился, всё равно мне не поверят.

Больше того. Признайтесь, прочтя это предисловие, вы подумали: автор разводит такую канитель, потому что считает это характерным для своего героя... способ старый, скучный и неудобный. Готов спорить, что самая эта приписка, которую я сделал, самое это угадывание вашей мысли опять-таки будет объяснено как «художественный приём». Да ещё приём-то «заимствованный у Достоевского». И так без конца. И следы окончательно заметены. «Странное рассуждение», – скажете вы? Возможно. Но только условимся наперёд: не удивляйтесь ничему в «Записках» и помните, что пишет их *странный* человек.

Говорят, личность больше всего выражается в любви. Достаточно прослушать историю любви какого-нибудь человека, чтобы узнать его лучше и полнее, чем за целую жизнь знакомства. Я согласен с этим. И потому, так сказать, канвой для «Исповеди» выбираю свой «роман». Но я сомневаюсь, что роман сам по себе, во всех своих сокровенных уголках, мог быть *понят*. Чтобы понять его и, таким путём, спуститься на самое дно души, необходимо знать хотя бы одну, основную черту характера человека. Вот потому я, прежде чем рассказывать о своём романе, порасскажу просто о себе. Вы думаете, будет скучно? Не бойтесь. Конечно, я не беллетрист и очень хорошо сознаю это, но если вы хоть раз по-человечески отнесётесь к искреннему страданию – вы и скучные вещи прочтёте со слезами. Вы, пожалуй, скажете: хватит ли у вас ещё таланта заставить нас плакать? Но, Боже мой, неужели, чтобы рассказать правду, чтобы рассказать нестерпимые свои муки, нужен талант, и неужели плакать над страданиями другого нужно заставлять?!..

Итак, что же прежде всего я мог бы сказать о самом себе?

I О самом себе

Больше всего и чаще всего я думаю о смерти. Она вызывает во мне ужас и отвращение. Как это ни странно, но, может быть, одна только *смерть* вызывает во мне действительно живое чувство. Часто гляжу я на свои руки и думаю: через несколько десятков лет, может быть, через год, может быть, через день, я стану трупом, это мясо начнёт гнить, отвратительным удушливым запахом наполнит комнату... При этой мысли я начинаю дрожать, чувствую, как холодеют руки, ноги. И нестерпимо тоскливо, и нестерпимо мучительно становится на душе...

Когда я думаю о смерти, – может быть, потому так много и думаю о ней, – мне словно хочется в чём-то себя уверить, словно это ещё не так, не наверно, что нужно ещё что-то узнать... Но в результате всегда одно и то же: умереть неизбежно. И новые приступы мучительного ужаса, до слёз, до исступления, до кусания подушки и нелепого крика... а затем опять что-то не то и не то...

Я не могу встретить на улице гроб, чтобы не пойти провожать его до кладбища. Мне противно смотреть на застывшее, пожелтевшее мёртвое лицо, на холодные, словно из воску сделанные руки; у меня кружится голова от смеси приторного земляного запаха разлагающегося трупа с запахом воска и ладана – но во мне исчезает всякая воля, как автомат смотрю я на чужое, когда-то смеявшееся лицо, как автомат иду до могилы.

На кладбище я всегда стараюсь встать поближе к краю и ловлю каждый момент, каждое движение гроба. Когда бросают первую лопату земли – напряжение достигает высшей точки. Этот стук, словно в пустую грудь, эти в пыль разбивающиеся комья земли – буквально физической болью отдаются в моём сердце.

Я возвращаюсь с кладбища разбитый и больной. В каждом встречном вижу я мертвеца. Мне как-то странно, что они двигаются. Я почти не замечаю их платья, их усов, их бороды,

ихнего тела – но почти до галлюцинации ясно вижу их скелет, их кости, череп, глазные впадины, страшный чёрный оскаленный, смеющийся рот. Чем здоровее и жизнерадостнее лицо, тем яснее представляю я себе его лежащим в гробу, с венцом на голове, с посиневшими щеками, готовыми разложиться.

Внутри себя я чувствую такую безжизненную пустоту, такое спокойствие, какое, мне думается, обыкновенно наступает только после смерти: ни страха, ни отвращения, скорей даже, едва уловимое чувство удовлетворения, пожалуй, даже торжества, как будто бы я знаю что-то важное и неизбежное – и между тем, никому, кроме меня, неизвестное...

Я начал думать о смерти очень рано. Можно сказать, как помню себя. Когда мне было лет семь, я часто в непонятном испуге просыпался ночью, боязливо крестился, мне почему-то казалось, что я умираю; но сейчас же радостно вспоминал, что мне ещё только семь лет, жизнь вся впереди, смерть ещё далеко-далеко, и засыпал успокоенный...

Но мысль о смерти овладела всецело существом моим со смерти бабушки.

Как сейчас вижу я себя в маленькой полутёмной комнате. Окна занавешены, сквозь них просвечивает серое, мутное утро.

Я сижу в углу, на диване, усталый и измученный бессонной ночью. Чувство напряжённого ожидания притупилось; глаза устали смотреть на низкую закрытую дверь, за которой давно уже не слышно ни разговоров, ни стонов, ни кашля с какой-то особенной булькающей хрипотой...

– Анюта, а Анюта, что это, звонят? – говорит за дверью глухой, до неузнаваемости изменившийся голос.

– Нет, бабушка, ничего, так это вам.

«Неужели умрёт, неужели умрёт?» – начинаю повторять я, зачем-то крестя вокруг себя тёмное пространство. И я чувствую, как вздрагивают мои губы, давит горло, и тупой ужас охватывает со всех сторон. «И я умру? – беспомощно носится в моей голове. – Да, да, обязательно умру, ничего против этого нельзя сделать, по телу пройдёт судорога, сердце остановится, положат на стол...»

– Анюта, а Анюта...

– Что, бабушка?

– Опять звонят...

– Бог с вами, спите себе, никакого звона нет.

– Так это, верно, гроб заколачивают, услышишь завтра.

Бабушка вздыхает и шепчет:

– О Господи, о-охо-хо...

Помню, как, придя на следующий день из гимназии, я подошёл к бабушкиной комнате, но против её двери стояло кресло...

Я понял, что это значило.

И мне это показалось таким странным, как будто я в первый раз узнавал, что люди умирают.

– Когда? – зачем-то спросил я проходившую Аннушку.

– В девять часов.

– Туда можно?

– Можно.

Я вошёл. Мне бросился в глаза край длинного белого стола, кривые подсвечники, монахиня, какие-то пустые бутылки на окне.

Но взглянуть в лицо умершей я решился только в церкви. Она лежала в белом чепце; морщины её разгладились, нос опустился, губы посинели и были полуоткрыты... Всю дорогу до кладбища я ничего не замечал перед собой...

И только когда гроб опустили в могилу и засыпали землёю, предо мной в первый раз промелькнуло не жёлтое безжизненное лицо, а другое, с мелкими, маленькими морщинками, доброй улыбкой, ласковыми близорукими глазами, повязанное чёрной косынкой, из-под которой выбились такие мягкие, седые волосы.

И мне стало жалко всех: и её, и себя, и священника, и всех-всех людей; и деревьев, которые стояли такие белые, блестящие, покрытые мягким, пушистым снегом, в недвижимом, морозном воздухе...

Я почти убежал с кладбища. Мне необходимо было остаться одному.

«Я не могу, не могу больше, – как вихрь неслось в моей голове. – Или пусть сейчас, сию минуту, тело моё станет таким же восковым, начнёт так же отвратительно пахнуть, или жить, жить после смерти, вечно, всегда, и пусть тогда впереди гроб и яма – они не страшны. О, почему я не могу поверить в бессмертие – ведь верят же десятки тысяч... На чём основана их вера, кроме страха смерти?.. Есть же у них что-нибудь?.. Бессмертие должно быть, должно быть... Боже мой, спаси меня, дай мне веру...»

Я долго не возвращался домой. Там уже начинали беспокоиться. Когда я пришёл, все сидели в столовой. Было несколько человек близких знакомых. О чём-то громко разговаривали. Один из моих братьев хохотал с полным ртом.

Я сел за стол и тут только понял, что мне стоил этот день...

– Люди не смеют жить и не верить в бессмертие... – неожиданно для себя выкрикнул я и подумал: «Я это говорю или нет? Я чувствую своё бессмертие, как вижу дерево, как небо, как землю...»

– Бессмертие – не мечта, жизнь – мечта, если нет бессмертия, – продолжал я.

И я видел, что все как-то странно смотрят на меня. Голова у меня кружилась, и всего меня произвольно покачивало из стороны в сторону. Я долго говорил о бессмертии, почти не сознавая, что я делаю... Впечатление, видимо, было огромное. Когда я кончил и осмотрелся, все сидели серьёзные и бледные. Никто не шевелился, только мать моя быстро сказала:

– Счастлив, кто может верить, как ты, но не всем это дано. – И совсем шёпотом прибавила: – Я не знала, что ты такой.

Говорю по совести, я должен отдать себе эту справедливость: от этих слов моей матери мне стало стыдно, где-то глубоко сжалось сердце тяжёлой тоской, мне хотелось броситься к ней и сказать ей всю правду: что я обманываю себя и их, что я не верю в вечную жизнь, но что я не в силах жить, не в силах, не в силах идти медленным, но неизбежным шагом в эту проклятую яму; умолять, чтобы она спасла меня, спрятала, унесла от этого дикого конца...

На один миг, правда, только на один миг, но всё-таки это было... А затем, сейчас же, я увидел, что братья и знакомые смотрят на меня по-новому. Я почувствовал себя выше их, особенным... я потянулся за хлебом, и мне казалось, что теперь все обращают внимание на каждое моё движение, и сам я обратил необычное внимание на то, *как* я это делаю...

С этого дня вся моя жизнь приняла новый оборот: я объявил себя верующим христианином, я уверил всех, кого мог, в своём твёрдом намерении сделаться миссионером. В этом пункте я сам не в силах разобраться в себе. Было ли это сплошь сознательной ложью, или здесь заключалась всё-таки и некоторая правда? А главное, если это была ложь, то для чего? Безусловно могу сказать следующее. Ни одной минуты я *не верил* в то, что стану миссионером, ни одной минуты я не считал себя христианином – но я не мог не лгать. Я не мог не лгать потому, что эта ложь была необходима для моей жизни.

Моё мнимое христианство было оружием, которым я боролся против призрака смерти, накладывавшего свою лапу на всю мою жизнь. Не будь христианства, смерть довела бы меня до самоубийства. Страх перед неизбежностью смерти, невозможность медленно ожидать её заставили бы силой приблизить конец. И хотя я не верил в Христа ни одной минуты, но лишь только

обычными рассуждениями о грядущем уничтожении я доводил себя до знакомого нестерпимого, леденящего ужаса – я в отчаянии и смятении хватался за религию.

Тут есть одна чрезвычайно странная вещь, я совершенно не в силах себе её объяснить – пускай уж этим занимаются психологи, – но я готов поклясться в правдивости своей «исповеди». Дело в том, что религия при полном отсутствии веры имела, как я уже сказал, такое целительное действие только при одном необходимом условии: *окружающие люди должны были искренно считать меня верующим*. Повторяю, я не знаю, почему это было необходимо, но это так. Только при этом условии идея бессмертия и всеобщего воскресения, в которые сам я не верил, могла спасти меня. Отсюда получалась такая, например, нелепость. Мелкая, но страшно характерная. Я тщательно соблюдал посты. Ни при ком из знакомых, как бы ни был я голоден, не решился бы я в постный день съесть хотя бы кусочек скоромной пищи. Меня все считают постником и аскетом, и такая репутация действительно необходима для меня. Но в те же постные дни я заходил в какой-нибудь ресторан и без малейшей борьбы съедал скоромный обед. И вполне понятно, почему без малейшей борьбы. Я вовсе не верил в посты – мне необходимо было считаться христианином до мельчайших, даже внешних подробностей, ибо таким путём я мог, по крайней мере, настолько освободиться от власти смерти, чтобы иметь силы жить.

Вот в чём лежит главная причина моей лжи, моего систематического обмана, непроходимой стеной отделившего от людей мою *действительную* внутреннюю жизнь. Ибо то, что было относительно постов, было и относительно всего, касающегося христианства. Везде, где только возможно, я проповедовал христианские добродетели, но источник всех этих проповедей был всегда один – *страх смерти*.

И вот всё это создало мне совершенно исключительное положение к тому времени, к которому относятся эти записки, то есть когда я уже не гимназист, робко сидящий у двери умирающей бабушки, а окончивший университет и оставленный по кафедре истории философии и даже не лишённый некоторой популярности молодой «писатель-проповедник», как меня называют.

Такое положение и такую репутацию мне не трудно было создать, ни разу не подав повод заподозрить меня в фальши, ввиду одной, чрезвычайно важной, стороны моей личности.

Я должен признаться в том, в чём я никогда, никому в *жизни* не признавался и не признаюсь.

Да если бы я вздумал кому-нибудь сказать об этом, разве мне поверили бы? Разве *факты* всей моей жизни не противоречат этому? Да, по внешности противоречат. Впрочем, может быть, противоречат не только *по внешности*. Я опять-таки бессилён разобраться в этом. Признание моё заключается вот в чём: моё внутреннее отношение к пороку, ко злу абсолютно безразлично. Не думайте, что это теоретическое отрицание морали, добра и зла и т. п. Не в этикетке тут дело, чтобы одно *называть* добром, а другое злом, нет. Во мне отсутствует нравственное чувство. Во мне не хватает какого-то нерва, который реагировал бы на зло так, а на добро иначе. Мне самому страшно писать это, но несомненно, что чувства, так сказать, *переживания*, у меня абсолютно безразличны относительно грабежа и милостыни, храбрости и трусости, самопожертвования и изнасилования... Зло, порок как таковой, не вызывает во мне ни малейшего протеста. О, как мне передать эту муку чувствовать себя ко всему одинаково мёртвым, ко всему одинаковым ничто?! Внутри меня какая-то пустота, смерть и тьма. Страх смерти сковал душу, и мысль о смерти опустошила всё. Я долго сам не знал этого. Жизнь и факты противоречили этому: ведь я чувствовал и чувствую искреннее отвращение, видя, как *совершается* какая-нибудь гнусность. Я считал себя благородным. Я думал, что порок так действует на меня. Все так думают обо мне и до сих пор.

Но это ложь.

Хоть на бумаге, хоть раз в жизни признаться в этой лжи и вздохнуть свободно.

Я сделал неожиданное открытие. Я заметил, что какую бы гнусность я ни думал, какую бы зверскую роль в своём воображении я ни играл, никогда ни малейшего протеста не шевелилось в моей душе. Больше того. Как бы скверно или несправедливо я ни поступил, сам поступок, как таковой, не вызывал во мне ни малейшего раскаяния. Умом я знал, что это называется дурным, безнравственным, но напрасно напрягал все усилия, чтобы *почувствовать* грех. И тут я понял, что во мне душа трупа. Я почувствовал тогда в первый раз, что во мне атрофировано нравственное чувство, что я урод. И это открытие привело меня в ужас не меньший, чем когда-то смерть бабушки.

Помню очень ясно, помню как сейчас, что в тот же самый момент, в который я раз навсегда признался себе в этом уродстве, как бы в ответ на это признание, где-то глубоко-глубоко во мне шевельнулось зловещее чувство *страха*, но не знакомое мне чувство страха смерти, а совсем другое, *как будто бы живое, во мне появившееся существо*... И я вздрогнул, почувствовав в себе присутствие этой чужой жизни...

О, теперь я хорошо знаю, что это за птица тогда во мне шевельнулась.

Но об этом после, не буду разбрасываться.

Итак, я сделал своё открытие. Оно повергло меня на первых порах в непреодолимое противоречие. Видя порок, видя, как совершается какая-нибудь несправедливость, я чувствую, как возмущается всё существо моё. Откуда же берётся это, если для меня стёрлось отличие добра и зла? Но скоро и это противоречие мне разъяснилось.

Я скоро заметил, что порок только тогда и возмущает меня, когда вижу, как он совершается, то есть *когда он в ком-нибудь другом*. И совершенно то же самое, что я безо всякого внутреннего протеста позволял самому себе, совершённое кем-нибудь другим, приводило меня в бешенство. Обличать благородно, с пламенным негодованием – моя стихия. Ну кому могло бы придти в голову, что такой моралист, с такими страстными порывами к добру, – нравственный урод!

Откуда же этот гнев? Вот откуда: я не могу допустить, чтобы кто-нибудь безбоязненно, с наслаждением, не смущаясь мыслью о смерти, о грядущих муках, совершал злодеяние. Опять эта вечная мысль о смерти питает мой гнев. Как они смеют за миг порочных наслаждений пренебрегать нравственными требованиями, как они смеют не думать о смерти и тем самым не отравлять себе греховных радостей? Но может быть, вы меня спросите: почему я сам, постоянно думающий о смерти и постоянно боящийся её, почему я не боюсь вечных мучений и не испытываю раскаяния, поступая дурно? В том-то и дело, что я не боюсь вечных мук, потому что не верю в вечную жизнь. Но я другое дело. Я не верю в вечную жизнь, и потому, конечно, мои наслаждения не могут быть отравлены боязнью ада, но зато они отравлены вечной боязнью смерти. А они, отрицающие и бессмертие, и не знающие этого ужаса перед смертью, какое они имеют право на самодовольный грех? Если они не боятся смерти, то они *должны* бояться вечной жизни. Если их не пугает вечная жизнь, они *должны* бояться смерти!

Я не могу простить грешнику не его грех, а его безразличное отношение и к смерти, и к вечным мукам. А потому у меня нет к нему ни любви, ни сострадания, ни желания исправить его для увеличения, так сказать, суммы добра. Во мне горит злоба к этому лицу. Мне хочется сделать ему больно; пробудить в нём раскаяние мне хочется для того, чтобы он был наказан муками своего раскаяния.

Но даже и в те немногие минуты, когда у меня появляется если не вера, то, во всяком случае, тревога за будущее, даже и тогда ни о каких муках совести не может быть речи. Я умом знаю, что *называется* грехом, и *умом* же стараюсь не грешить – но это совсем, совсем не то, что раскаяние, чувство своего греха. Повторяю, весь ужас в том, что я не чувствую никакого нравственного, живого отношения ни к добру, ни к злу.

Но как, скажите, ради Бога, как всё это можно обнаружить по внешнему виду? Ну может ли человек, с таким страданием в голосе, с таким огнём в глазах обличающий неправду, не

быть полусвятым? Так чего же удивительного, что все эти странности сделали меня в глазах общества непорочным моралистом...

* * *

Теперь, прежде чем перейти собственно к роману, мне остаётся сказать ещё несколько слов о самой тёмной, самой грязной области моей души – о моём отношении к женщинам.

Мысль о женщинах играет в моей жизни едва ли не такую же роль, как мысль о смерти. Возможно, что то и другое имеет какую-то внутреннюю связь. Разве сладострастие не есть гниение души? И разве страх смерти, мертвящий душу, не обуславливает собой её гниение?

Писать об этом мне труднее всего. Не потому, что совестно, нет. «Угрызений» я и в этой области не чувствую, а потому совесть тут не при чём. Мне трудно писать об этом из самолюбивого страха. А вдруг, мол, кто-нибудь и в самом деле поймёт, что здесь пахнет не простыми «Записками»! Как не бояться мне этого, когда всего выше, всего восторженней во мне почитают именно эту мою чистоту. Даже недоброжелатели мои с уважением говорят о моём чистом отношении к женщине. Но авось это маленькое предисловие, да ещё вот эта оговорка о предисловии заметут и на этот раз следы.

Моя репутация, а в детстве внешние условия поставили меня вдалеке от женщин, и потому вся грязь моей души обратилась на воображение. Я стал теоретик разврата. Я собрал целую коллекцию рукописей и книг. Это моё царство. Фантазия моя в этой области беспредельна, и я смело говорю – гениальна. Целые длинные вереницы лиц, событий, сцен таких утончённых, таких упоительных создало моё воображение.

О, если б я мог рассказать всё, что совершил я над женщинами. С каким паническим ужасом отвернулись бы от меня все мои почитатели. Посмотрели бы люди мне в душу, когда я читаю о каких-нибудь насилиях, положим, над армянскими женщинами в Турции. Эти стоны, эта кровь, эта беспомощная невозможность сопротивляться приводят меня в какое-то восторженное бешенство. И алчное воображение моё рисует всё новые и новые подробности. Я представляю себе каждую черту, каждый трепет тела и, боясь дышать, слежу за вихрем своих фантазий...

В театрах, на улицах, в учёных собраниях я жадно ишу красивых женщин и, найдя, сейчас же делаю их героинями своих чудовищно-грязных мечтаний. И так ясно, с такими подробностями рисую себе всё, что, право, не знаю, прибавилось ли бы что-нибудь от того, что это произошло бы в действительности.

Я думаю, скорей, наоборот: действительность была бы менее ярка и менее соблазнительна.

Я знаю, что скажут про меня некоторые господа, особенно же склонные к «научному» взгляду на жизнь: больной человек – маньяк. Но, милостивые государи, я позволю себе заявить, что таких или тому подобных маньяков среди мужчин 99 %.

Не думайте, что в моих интересах стучать краски. Наоборот: вы сейчас увидите, что я готов был бы отдать пол своей жизни, лишь бы это была неправда. Не потому, конечно, что мне дорога добродетель, а совсем из других побуждений. Но в том-то и дело, что после тщательного изучения и наблюдения над жизнью я с горечью и со злобой должен признаться, что не один я так думаю о женщинах и не у одного меня половина жизни проходит в сладострастных мечтаниях, а почти у всех. Вы не смотрите на него, что он учёный или видный общественный деятель, – вы спросите его жену, какой он пакостник и развратник, а ещё лучше его любовницу. Разврат – как еда. Одни едят для утоления голода, другие – для наслаждения. Между тем и другим целая пропасть. Мужик изо дня в день ест щи да кашу, и она никогда не надоест ему; а попробуй-ка вам месяц изо дня в день подавать бульон и котлеты?..

99 % интеллигенции такие «гастрономы». Я, так сказать, теоретически убеждён, что все мужчины развратны. И я не верю всем этим почтенным господам, пишущим и говорящим с дрожью в голосе о том, что в женщине нужно видеть «человека». Посмотрите, как эти моралисты заглядывают на улицах под шляпки проходящим дамам и какими глазами смотрят они им вслед. Я всё это вижу – и в этом одна из главных мук моей жизни!

Ибо в этом-то пункте всего ярче сказалось и моё мертвенно-индифферентное отношение ко злу, и моё неистово-злобное отношение к *совершающим* зло.

Какое угодно, самое бесчеловечное, насилие готов я в своём воображении совершить над женщиной без малейшего внутреннего колебания. Я чувствую, что и в действительности готов сделать то же самое; что если меня от этого что-либо удерживает, то, во всяком случае, не мотивы морального свойства. Но мысль, что другие думают то же, что и я, и не только думают, но и поступают так, заставляет меня буквально плакать от злобы. Я ревную всех женщин: и знакомых, и незнакомых. Я хотел бы, чтобы мне одному принадлежало право грешить и наслаждаться женщинами. Я не могу без отвращения видеть свадьбу. Я не могу помириться с мыслью, что она, эта неведомая мне девушка, которую я никогда не узнаю, да и не хочу узнать, будет принадлежать какому-то мужчине.

Я не могу слышать, как рассказывают о своих победах, о своих похождениях. Меня трясёт всего от ревности, от злобы, от зависти. Мужчина мне становится отвратителен, поступок его кажется чудовищным...

Вот поэтому-то проповедь целомудрия, обличение сладострастия – мой конёк. Здесь я превосхожу самого себя. Никогда моё красноречие не производит такого потрясающего впечатления, как в эти минуты. С каким восторгом и благоговением смотрят тогда на меня женщины. Но если бы они знали, что делает с ними этот аскет, какой неистовой оргии предаётся он в своём воображении, придя домой и сидя за своим письменным столом!

Мой гнев, моё стремление обличать и клеймить достигает своего апогея, когда я разврат *вижу* своими глазами. Для иллюстрации приведу следующее.

Это произошло в Благородном собрании, после одного симфонического концерта. Концерт кончился. Публика сплошной стеной спускалась вниз по лестнице.

Немного впереди себя, около самых перил, я заметил высокую, красивую девушку, в необыкновенно простом и скромном чёрном платье. За ней шёл маленький, худенький господин, лысый, с небольшой седенькой бородкой. Народу была масса, теснота и давка была страшная. Я следил за дамой и за господином. И вдруг заметил, что худенький господин, пользуясь теснотой, позволил себе нечто совершенно непристойно-оскорбительное. Мне это было видно через перила. Я видел, как вспыхнуло лицо девушки, как она повернула к нему своё испуганное и гневное лицо, видел, как она хотела крикнуть, но, видимо, сробела и, растерянная, не знала, что ей делать. Кровь хлынула мне в лицо. Я рванулся вперёд и, не помня себя, что было сил ударил лысого господина кулаком по лицу...

Я не спал всю ночь. Я думал о ней, об этой незнакомке, и эти испуганные глаза, этот румянец от стыда и гнева наполнял всё существо моё таким мучительным, таким захватывающим сладострастием... Каким пустяком была выходка этого господина в сравнении с моими грёзами. И какую подлость казался мне его поступок, и как бесконечно ненавидел я его...

* * *

Вот я и закончил все предварительные сведения о своей личности. И хотя все перипетии, все страдания моей жизни ещё впереди, хотя я, можно сказать, только заикнулся о них, а и то уж чувствую, как нестерпимый гнёт сползает с плеч.

Помните, вначале я просил на слово поверить мне, что исповедь для меня необходима. Может быть, теперь вы уже и догадались, зачем это? Может быть, и без объяснения вам это

ясно? Но лучше уж я объяснюсь. Хотя «объясниться» и «объяснить» далеко не всегда одно и то же. Боюсь, что и на этот раз я только запутаю дело.

Вы помните, что я писал об одном необходимом условии, которое одно спасает меня от страха смерти: мне необходимо, чтобы окружающие считали меня христианином. Так вот, видите ли, нечто подобное про исходило и тут. Двойственность моей жизни, невозможность никому открыть душу, по правде, по совести, невозможность нигде и никогда побыть самим собой так измучили, утомили мою душу, что после трагического конца моего «романа» мне стало невмочь; захотелось хоть на бумаге, хоть в форме «Записок», сбросить с себя «добродетельного» двойника, который в действительности нисколько на меня не похож и с которым исключительно и имеют дело мои знакомые... Хоть на бумаге сказать то, о чём боишься даже подумать, точно могут подслушать эти думы; нарушить эту проклятую комедию, которую я играю, чтобы спастись от ужасного призрака смерти.

Но знаете ли, почему я не могу никому в действительности открыть свою душу? Да потому, что тогда будет нарушена та иллюзия моего христианства, без которой я не могу жить. Собственно, мне нужно было бы такого собеседника, который бы выслушал меня и... сейчас же всё забыл. Но где же возможно достать такого собеседника? Таким образом, мне предстояло решить, казалось, неразрешимую задачу: придумать что-нибудь такое, что, с одной стороны, было бы «исповедью», с другой – не разрушало бы моей репутации христианина.

Я с радостью, как утопающий, схватился за мысль написать «Записки». Это был действительно блестящий выход! Ведь всякий, прочтя эти «Записки», отнесётся к ним как к некоторой *возможной* исповеди, хотя, быть может, никем и не пережитой в действительности. Но, с другой стороны, не припишет всё это автору «Записок», и, таким образом, нужная мне репутация не пострадает. Другими словами, меня выслушают, на миг забудут, что это выдумка, отнесутся к написанному как к «Исповеди», но потом придут в себя, увидят, что это «роман», не больше, – и успокоятся.

Вот потому-то единственно, что меня смущало, это то, что, если я озаглавлю свою «Исповедь» «Записками», мне могут не поверить, что всё написанное в них – правда, то есть сразу отнесутся к ним как к «литературе».

Но неужели мне не удастся этот единственный способ, чтобы хоть на миг вздохнуть по-человечески, хоть на несколько часов побыть самим собой – и получить в виде этой бумаги и этого пера наконец того молчаливого собеседника, который всё выслушивает и всё забудет?!

Бумага, конечно, не собеседник, но всё-таки, всё-таки, хоть что-нибудь.

II

Начало конца

Знакомство с Николаем Эдуардовичем и сестрой его Верочкой имело для всей моей жизни, можно сказать, решающее значение. До сих пор не могу понять, почему, после первой же беглой и случайной встречи, я сразу так и решил, что судьба нас свела не даром.

К людям вообще я отношусь с недоверием. Никакие внешние признаки искренности для меня неубедительны. Я знаю по личному, постоянному опыту, что искренность – вещь неопределимая. И твёрдо держусь мнения, что человеческая душа – потёмки. О, и какие ещё потёмки! И потому всегда и ко всем отношусь с оговоркой: а может быть, он и мерзавец. Тяжело это, конечно, но как же может быть иначе? Кто сможет меня убедить, что не все такие, как я, – что не у всех в душе есть такой же двойник, что не все носят этот мучительный костюм, прикрывающий душу? И вот первого из людей, Николая Эдуардовича, я встретил, которому *поверил*, поверил сразу. И когда почувствовал в этом что-то непривычное и хотел нарочно убедить себя, что и он такой же, как все, – то оказалось, что вера моя идёт вразрез со всеми моими соображениями и я просто, без всяких оговорок и запятых, верю ему безусловно.

Давно ли я познакомился с ним. И как бесконечно далёким кажется мне это время... И немудрено: я, можно сказать, прожил в эти два года всю свою жизнь и дошёл до публичной исповеди, которую наивными оговорками прикрываю в этих «Записках».

С обычной тяжестью на душе сидел я на берегу моря в будочке и пил нарзан.

Я моря не люблю. Оно возбуждает во мне безотчётную душевную тревогу, синяя даль мучительно притягивает к себе, и из морских глубин встают, как призраки, вопросы: о вечности, о жизни, о смерти...

В будочку вбежала девочка лет пятнадцати, бледная, едва переводя дух. В дрожащих руках её дребезжало маленькое ведёрко.

– Льду, ради Бога, – почти прокричала она и задохнулась совсем, – кровь горлом... умирает...

Приказчик, вытиравший бутылки, исподлобья посмотрел на неё, побагровел и угрюмо отрезал:

– Нет льду.

Девочка не двигалась, несколько моментов стояла молча и вдруг, прижавши худенькие ручки к своему лицу, бросилась прочь, направо по тропинке...

Внезапно, и не знаю почему, мне стало нестерпимо жалко её. Особенно помню, почему жалкими были её коротенькие рукава, из которых высовывалась тоненькая, дрожащая, совсем детская рука. Это бывает со мной. Может быть, тут есть какое-нибудь противоречие, но я подвержен приступам неудержимой, всю мою душу размягчающей жалости... И обыкновенно какой-нибудь пустяк так потрясает меня. Иной раз даже в мыслях, даже в воображении, совершая жестокость и насилие, вдруг представишь себе какую-нибудь такую подробность, от которой всё сердце затрепещет внезапной жалостью. Впрочем, говорят, даже преступники бывают сантиментальны.

– Дайте ей льду, – быстро сказал я приказчику, – я вам заплачу, сколько хотите.

Он согласился, насыпал мне целую шапку льду, и я бросился догонять девочку.

Так началось моё знакомство. Девочка эта была сестра Николая Эдуардовича. Испуг её оказался напрасен: когда мы пришли, Николай Эдуардович уже ходил по комнате.

Увидав его, я невольно остановился и даже забыл подать руку.

Передо мной стоял не человек, а *образ*. Да, где-то, когда-то, может быть, в раннем детстве, я видел именно такую икону, такой лик Христа.

Худой, бледный, почти прозрачный, он светился весь тихим, радостным, убаюкивающим светом. Мягкие чёрные кудри падали на плечи, а задумчивые, но ясные глаза, такие лучистые, прямые, так и ласкали, так и притягивали к себе.

Да, да, именно Христос должен был быть таким: и сильный, и любящий, и радостный, и прекрасный.

Верочка быстро, не договаривая фраз, спрашивала о том, как он себя чувствует, рассказывала о нашем знакомстве, перебивала сама себя, смеялась, кричала, обнимала брата.

Я молча, с беспокойным, совершенно необычным для меня чувством всматривался в прекрасное, загадочное лицо своего нового знакомого.

Помню, одна странная мысль тогда же пришла мне в голову.

«Так же вот и Иуду, – подумал я, – должно было притягивать ко Христу то, что в присутствии Христа он не чувствовал своего неверия».

Но самое важное, самое необычайное, что имело свои роковые последствия, заключалось вот в чём.

С первого же раза в его присутствии я не мог отделаться от какой-то двойственности. Будто не только я смотрел, я слушал, я наблюдал, а ещё кто-то, *во мне же заключённый*. Я смотрел на Николая Эдуардовича с чувством радостным, тёплым, а тот, *другой* – я не нахожу другого слова, как сказать, – с любопытством. Но это не было обыкновенное любопытство. В

нём было что-то тяжёлое и мучительное. Когда я думал об этом чувстве, опять мысль об Иуде пришла мне в голову.

«А что, – подумал я, – на Тайной Вечере, когда Иисус Христос сказал: “Один из вас предаст меня”, и ученики в ужасе спрашивали один за другим: “Не я ли? Не я ли?”, Иуда, задавая этот вопрос в числе прочих учеников, не испытывал ли того же гнетущего, холодного любопытства: узнает ли, мол, или нет?.. Может быть, даже там, этот поцелуй в Гефсиманском саду, это “Здравствуй, равви” исходило из той же тёмной, таинственной бездны души?..»

Недолго просидел я у них. Впечатления были слишком сильны и новы. Лёжа в постели, уже совсем в полусне, я вспомнил Верочку и подумал: она не в моём вкусе... такая худенькая, слабенькая, чуть обидишь, уж расплечется, и наверно, напряжённо, всеми нервами... а интересно, часто она о смерти думает или нет... сухенькая, смешная старушка из неё выйдет...

* * *

Зачем, зачем тогда я пошёл на этот концерт?.. Бежать бы, бежать, не оглядываясь, – от этого знакомства, от этого любопытства, и жить изо дня в день, вечно мучаясь, вечно одиноким, безотчётно чувствуя причины и ужаса, и смерти своей души. Никогда бы не узнавать – что я, зачем я, откуда я... к чему всё это?

Музыка, Бетховен, чёрная ночь – к чему они связали мою изломанную душу с той, с другой жизнью, и к чему я узнал свою? Тысячи раз спрашиваю я себя: к чему? Ужели к тому, чтобы теперь дойти до этого состояния, когда иной раз не на шутку с тоской спрашиваешь себя: жив ты или уже умер?..

Впрочем, может быть, и в этом есть какой-нибудь «высший» смысл, непреходящий даже с моей смертью!!

О, памятный вечер, окончательно и бесповоротно решивший мою жизнь! Вечер, который бросил меня туда, где я во всей глубине узнал самого себя. И как тогда я не понимал, что решается судьба моя, что произносится приговор мой...

На следующий день после первого знакомства я был с ними в концерте.

Я сейчас слышу эти дьявольские звуки бетховенской сонаты. Вы, может быть, подумаете, что любовь пробудили они, как оно и полагается для завязки «романа»... О нет, не бойтесь – *такой* пошлости не случилось. Может быть, в ком-нибудь другом, но во мне никакая музыка не может пробудить любовь... а музыка Бетховена особенно. До любви ли, когда из-за каждой ноты, из-за каждой дрожащей струны на вас смотрит это загадочное, почти нечеловеческое лицо, этот нестерпимый взгляд, больше похожий на какой-то таинственный просвет в нездешний, сокровенный мир...

– Вам нравится? – говорила Верочка, а я не мог разжать губ, чтобы ответить ей... Это кто-то мне говорит там...

Я понял смерть. Я вижу её, она кругом меня, я чувствую её. Огни потухли. Чёрный зал. Никого – ни души. И в даль, к тёмному небу, к пустому небу, где ни звезды, ни облака, убегает, теряется бесконечная вереница мёртвых человеческих тел... И в ответ им пустое *ничто*. О, в этом ничто схоронились все надежды, все радости, все восторги, всё горе, все страдания и слёзы...

Робкий лепет розовеньких детских губок и ласковое прикосновение шёлковых, нежных кудрей. Боже, как весело. Боже, как счастливо. Да ведь это смех чей-то, серебристый, задорный смех – так бы и смеяться, смеяться без конца... Всё кругом ожило, заблестело, засияло. Хлынул воздух, раскрылось небо, и песня летит туда, в голубую, вечную даль...

Нет, нет. Не может быть... Ещё хоть один аккорд, хоть один звук... Молчание... Почему так вдруг, до боли заныла грудь? Где я слышал эти стоны, эти зловещие грубые звуки? Несут... я вижу... Что это, галлюцинация?..

«Боже мой, ведь я на концерте», – хочу я крикнуть на ухо Верочке, но они уж здесь. Они принесли... Белый, газетовый, с кружевами, с тяжёлыми ручками... Я видел его, видел... но почему я не могу вспомнить, где видел его? Как мучительно, когда не можешь вспомнить... Гроб всё ниже, всё ниже...

Чёрный зал, никого ни души, ни живых, ни мёртвых. Пусто, тоскливо – мучительно.

«Боже мой, ведь это вся жизнь пролетела. Хоть что-нибудь ещё бы. Нельзя же, чтобы так всё это кончилось...»

И вот из темноты что-то смутно веет на меня с вопросом и ужасом, словно плывёт откуда-то. Я холодею. Я не понимаю, что это, откуда это, мне жутко, мне хочется кричать... Бледный лоб, бледные щеки. Да это Он!.. Судорога схватывает мне горло. Я весь дрожу и в исступлении хочу кричать, сам не зная почему, трепещу от ужаса: не надо! Лучше конец... не надо, это обман. Лицо близко, сейчас увижу его из темноты, ясно, совсем ясно перед собой...

– Нет, нет Его! – с тоскою кричу я...

Гром аплодисментов. Соната кончена. Измученный, я озираюсь кругом. В глазах рябит, всё сливается и плывёт куда-то. Только совсем близко, около плеча, оживлённое, детское личико Верочки.

Мы вышли и пошли гулять по берегу моря. Молчали. Верочка нагибалась, подымала камни, бросала их, и они с коротким, глухим звуком падали в море.

Я не мог придти в себя. Он тяжёлым кошмаром ещё стоял в памяти, и страшное, ненавистное чувство продолжало щемить сердце. Это чувство было нелепо, непонятно и неожиданно для меня. Словно какая-то бездна тайн разверзлась предо мной, и я знал, что, заглянув, узнаю *всё*, и не мог, боялся, трусил, как щенок, хотя уже предчувствовал, *что* там жило и шевелилось.

Не помню, долго ли мы гуляли. Как сон теперь передо мной эта далёкая крымская ночь, с которой начались мои первые откровения о самом себе. Как сон было и тогда, когда я шёл с этими двумя, такими новыми для меня людьми в чёрную даль, по берегу моря, которое набегало и пенилось у наших ног. Мне чудилось, что я умер и новый мир, вечный мир, открывается предо мной, и меня ведут туда люди не мира сего.

«А я сомневался, будет ли вечная жизнь? Не надо теперь бояться смерти, не надо каждый миг думать о ней, уж эта жизнь не кончится никогда...» И хотя я сознавал, что думаю какую-то несообразность, что предо мною Чёрное море, что я на южном берегу Крыма, со своими новыми знакомыми, но от этих несообразных мыслей непривычная живая радость едва внятно начинала трепетать во мне.

III Идиллия

Скоро мои новые знакомые уехали в деревню. Я обещал приехать к ним; и в конце июля, после беспокойной крымской жизни, полной самых сложных вопросов и сомнений, словно чудом попал в маленький, старенький домик, обвитый тёмно-зелёным густым виноградом, со старинными полутёмными комнатами, с тенистым задумчивым парком, в атмосферу тихую, радостную, где, казалось, никогда не было никаких тревог, никто не собирался умирать, и старенький домик, и старенькая старушка тётя, и почти ребёнок Верочка даже и не думали о смерти.

Я прожил там месяц. Это время занимает совершенно особое место в моей жизни. И я долго колебался, говорить или нет о нём в этих «Записках». Весьма возможно, что ничего важного, что помогло бы вникнуть в дальнейшую мою жизнь, там и не произошло. Но уж очень мне трудно теперь ничего не сказать об этих хороших и, уж конечно, безвозвратно ушедших

днях – теперь, когда всё для меня в жизни кончено и впереди ничего, кроме подневольного, полуживого прозябания...

Этот месяц клином врезается во всю мою жизнь. Всё там было для меня необычно, и сам я в этот месяц как-то не совсем походил на самого себя. Ведь я тогда и не подозревал ещё всех предстоящих мне мучений. Наоборот, во мне, я очень хорошо это помню, начинала тогда пробуждаться смутная надежда на то, что наконец с меня спадёт этот нестерпимый гнёт страха смерти, я воскресну внутренне и почувствую наконец, что значит *жить*.

И даже теперь, когда я, кажется, перестал вообще чувствовать что-нибудь, я всё же не могу без сердечной боли вспомнить свою жизнь в полутёмном виноградном домике, а потому не могу хотя бы несколько слов не сказать о ней, тем более что, кто знает, может быть, всё-таки там впервые заговорили во мне – конечно, бессознательно – те чувства, которые потом дали толчок и направление моему «роману».

В Крыму я, можно сказать, не замечал Верочки, Николай Эдуардович поглощал всё моё внимание, но здесь его не было (он уехал за границу учиться), и на фоне затихшей старосветской жизни Верочку нельзя было не заметить. Она в высочайшей степени обладала основным свойством жизни – *изменяемостью*.

И перемены её были так резки, так внезапны и всегда так новы, что в её присутствии я с первых же дней потерял способность думать о смерти. Глядя на людей, я уже привык наблюдать их покойниками, я привык копаться в этом чувстве, как жук-могильщик. Но с Верочкой я справиться не мог. Мысль об её смерти не могла сгладить впечатление от её полудетских розовых губ, блестящих, ласковых и насмешливых глаз, чёрных мягких кудрей, которыми она очень походила на брата. Меня необыкновенно беспокоило это чувство, но было в нём ещё что-то и другое. Мне казалось, что я сам как будто начинаю оживать от соприкосновения с ней. Теперь я знаю, что это только казалось, что это было какое-то дьявольское наваждение, теперь я очень хорошо знаю, что даже самые оживлённые лица кончат всё тем же. Но тогда я все силы напрягал, чтобы поддаться этому новому чувству.

Ещё бы, мне и тогда так хотелось отдохнуть, хотелось «новой жизни»!

В виноградном домике всё, начиная от Верочкиной тётки, Александры Егоровны, кончая любой мелочью, заключало в себе какое-то необъяснимое внутреннее сходство. Всё было старенькое, тихенькое, привычное, но всё, можно сказать, насквозь пропитано жизнью.

Александра Егоровна была совсем такой же старушкой, какую, мне представлялось, будет Верочка, но и эта сухенькая старушка посматривала такими блестящими глазами, так звонко смеялась, как будто в её дряхлом тельце была спрятана такая же тоненькая девочка Верочка. Каждый предмет словно впитал в себя многолетнюю тихую, но радостную жизнь своей владелицы – каждый из них состарился, но жил без малейшей тревоги, и казалось, будет жить вечно. Пускай мы становимся старомодными, нам-то, мол, что за дело!

Единственный знакомый Александры Егоровны был давнишний её друг, чрезвычайно маленький старичок Трофим Трофимович Веточкин.

И в нём было всё то же необъяснимое сходство и с Александрой Егоровной, и с Верочкой, и со всем виноградным домиком.

Несмотря на свои шестьдесят лет, морщинистое почерневшее личико, совершенно голую голову, кое-где лишь покрытую седым пухом, он, подобно Верочке, можно сказать, трепетал от жизни.

Бегал с ней вперегонки и не очень-то уступал ей в этом, играл на гитаре и пел чувствительные романсы...

Верочку он любил, как дочь. Полюбил он и меня как-то сразу. Всё это было у него просто, без всяких мучений. Да вообще в этом домике жили просто, не было ни борьбы, ни страха, ничего болезненно-сложного.

Я поддавался этой простоте и отдельными моментами чувствовал себя так, как будто бы в жизни всё было очень просто и мило. Но, должно быть, я слишком привык за всякой обыденщиной видеть истинную страшную сторону внутренней человеческой жизни, а потому вполне не мог отделаться от своих прежних, наболевших, но на время замолкших дум. И тогда привычная жуткая грусть разливалась в груди, и во мне пробуждалось желание разрушить незаконный безмятежный покой, заставить всех бояться смерти, задуматься, страдать. В эти минуты я с досадой и почти завистью смотрел на Верочку.

Помню, как однажды мы поехали с ней кататься. Прежде я редко любовался природой. Она слишком пугала меня, я старался не замечать её. Должно быть, вместе с жизнью пробуждается и любовь к природе. С новым, почти детским чувством смотрел я на зеленоватое вечернее небо, на серебристое поле овса, на синеющий горизонт.

– Посмотрите, как низко ласточки летят, – сказала Верочка, – как это они за землю не заденут?

Я не люблю вопросов, даже самых пустяшных.

Каждый вопрос по ассоциации связывается у меня с десятком других и спускается до вопроса о смысле жизни, в который, хочешь не хочешь, в конце концов упираешься, как в глухую стену.

Я мельком взглянул на быстро скользивших ласточек, и вдруг, безо всякой видимой причины, и поля, и небо, и убегающая полоска дороги показались такими лишними, ненужными, как не нужна и вся наша жизнь.

Глупо раздражаясь, я сказал:

– А чего, спрашивается, летят они?

– Наверно, у них детки есть.

– А детки зачем? – раздражался я ещё более.

Верочка покосилась на меня и сказала:

– Как зачем? Затем, чтобы вырасти, летать. Разве без ласточек лучше было бы?

– Совершенно безразлично. Радоваться всякой твари имеем право только мы, верующие, – а вы ведь в Бога не веруете, значит, для вас нет ответа на вопрос «зачем они живут?».

– Ах ты, Господи, – нетерпеливо проговорила Верочка, – для чего живут. Для того же, для чего и все.

– То есть для того, чтобы умереть, – отрывисто сказал я.

– Совсем нет, умирают потому, что это необходимо, а живут для того, чтобы быть счастливыми.

– Да, но какое вы имеете право быть счастливой, когда всё уничтожится и вы не можете иметь ни к чему никаких привязанностей. Неверующие люди живут в номерах – со смертью для них конец всему: уехали из номеров и никогда не вернуться. Но разве можно любить то, что дано на два дня?

– Вот и неправда, – воскликнула Верочка. – Если жить в номерах один день, тогда, конечно, ни к чему привыкнуть нельзя, а если всю жизнь, так отлично можно, всё равно как на своей квартире. Вот вы здесь месяц живёте, и то уже к нам привыкли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.